

# СИНТАКСИС

ПУБЛИЦИСТИКА

КРИТИКА

ПОЛЕМИКА

8

ПАРИЖ

1980

Журнал редактируют :

М. РОЗАНОВА

А. СИНЯВСКИЙ

The League of Supporters : Ю. Вишневская,  
И. Голомшток, А. Есенин -Вольпин, Ю. Меклер,  
М. Окутюрье, А. Пятигорский, Е. Эткин

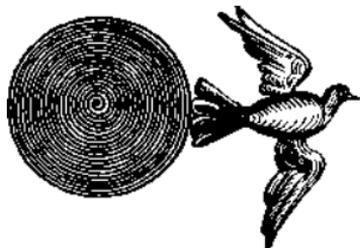
Мнения авторов не всегда совпадают  
с мнением редакции

© SYNTAXIS 1980

Адрес редакции :

8, rue Boris Vilde  
92260 Fontenay aux Roses  
FRANCE

*Редакция приносит глубокие извинения читателям журнала "Синтаксис" за опоздание очередного номера, которое связано с попыткой и необходимостью перестроить издание журнала и некоторых книг, намеченных к публикации в нашем издательстве, на собственную типографскую базу.*



Ален Безансон

**ОБ АНДРЕЕ АМАЛЬРИКЕ**

Когда спрашивали Амальрика, почему он так рано приступил к сочинению мемуаров, он обычно отшучивался: "А кто знает, неровен час . . ." В его воспоминаниях есть абзац с гротескным описанием автомобильной катастрофы, которая с ним случилась в Америке . . . Подобными приметами не следует пренебрегать, даже если они вызывают насмешку. И вот между Марселем, где он участвовал в симпозиуме о положении рабочих в Советском Союзе, и Мадридом, где он собирался выступить за права человека, его машина врезалась в грузовик. Его любимая жена уцелела. Он погиб. Незадолго до выпуска его "Записок Революционера", где он нарисовал яркий автопортрет.

Амальрик недолюбливал душевные излияния и сентиментальность. Он не увлекался исчерпывающими теориями, холодно относился к системам, не испытывал особой тяги к теплым, влажным, засасывающим мировоззрениям, до которых падки многие его соотечественники. Он родился бунтарем, к тому же был сын бунтаря. Юридические и полицейские органы сбивались и путались перед неожиданными вылазками этого незаурядного противника. Его неподатливый индивидуализм не укладывался в готовые рамки, что и объясняет некоторую его уединенность — а может быть и опечаленность — за те короткие четыре года, которые ему суждено было прожить на свободе.

Не веруя в возможность преобразовать советскую систему, Амальрик придерживался откровенного катастрофизма. Он был даже революционером — в том смысле, что активно готовил катастрофу. Социализм с человеческим лицом ему казался противоречивой, несостоятельной доктриной. Но он не верил и в утопию нового христианства, в долгожданное воплощение Святой Руси. Не будучи ни социалистом нового толка, ни христианским моралистом, он остался вольным стрелком и ушел от двух главных потоков диссидентства. Он всю жизнь держался подальше от головокружительного небытия, что лежит в основе коммунизма: поэтому ему удалось избежать брезгливости и презрения, которые душат Зиновьева. Он всегда действовал и боролся на свой лад. Он проявил себя как точный аналитик, подчиняющий ум и сердце одинаковому ритму. Он стал опытным, уверенным специалистом по ограниченным, но кровавым ударам. Он усвоил несколько приемов дзю-до — те, что побольше! — и применял их в нужный момент, без заминки, без страха.

Ему удалось удержаться на ногах, потому что иерархия личных чувств шла у него от близкого к далекому, а не наоборот, как часто бывает с русскими интеллигентами. У него было острое, почти болезненное чувство личной чести, собственного "я" и обязанностей людей по отношению к нему. Дальше он свою любовь распространял на ближних как на носителей добра. В первую очередь он любил жену-татарку, милую Гюзель, по-женски храбрую, умную и преданную, прелестный образ которой запечатлен в его мемуарах. Дальше — друзья, о которых он пишет просто, без всякой героизации, правдиво и, кажется, справедливо. Потом уже собирательные понятия: народ, родина, человечество и то лишь постольку, поскольку они представляют какое-нибудь добро для живых людей. Самопожертвование ради идеала вызывало у него недоверие, как и всякий шаблон. Тем не менее — что же делать? такова, видно, была его натура — он посвятил себя борьбе за идеал. За простой идеал *приличной* жизни, который ему мерещился сквозь туман весьма *неприличной* жизни, его окружавшей.

Нельзя без страстного увлечения читать его летопись диссидентства, где он проводит строгий политический

анализ движения, в жизнеспособности которого можно сейчас сомневаться.

Вторая часть его мемуаров совершенно другого покроя. С ним органы хотели бы расправиться, как они обычно поступают с теми, кто отказывается ползать на животе. Таких тащат в мерзкие свиные стойла, норовят их сломать, согнуть, поставить на четвереньки, одарить свиными рылами, ухватками, душами. Этим стойлам, покрывающим площадь чуть ли не в Европу, имя — Лефортово, Мордовия, Колыма, Магадан . . . Там целое человечество претерпевает медленное вырождение. Незакаленный западный читатель склонен пропускать такие страницы, от которых не столько страшно, сколько тошно . . .

Амальрик много раз оказывался на грани гибели — физической, моральной, умственной и — уцелел. Когда его выпустили на Запад, он держал в руках кошку, на него поразительно похожую — живучестью, быстрой хваткой зубов и когтей, чистоплотностью, стыдливостью, одиночеством.

А. Синявский

## СНЫ НА ПРАВОСЛАВНУЮ ПАСХУ

Однажды мне предложили в Риме сымпровизировать перед телезрителями что-нибудь о Боге, о православной церкви, о нашем особом религиозном опыте. Приближалась Пасха, и режиссер телевидения желал подготовить к Светлому Празднику специальную передачу. Отказываться было неловко. В гостиницу, где я жил, уже привезли аппаратуру, наставили линзы, зажгли софиты, и вопрос был задан в прямой непринужденной форме, которая меня покорила: как вы верите в Бога? Как вы пришли к религии? Что для вас православие? и т.д.

Я не религиозный писатель, не проповедник, не моралист, а кроме того — не привык исповедоваться по телевизору. "Кто верит — тот в сердце хранит", — сказала мне как-то одна староверка. Режиссер же хотел чего-нибудь интересного, занимательного для публики, всеобъемлюще-православного и в то же время интимного, личного. В подобных предметах всего ужаснее профанация, и у меня появилось ощущение, что как-то невольно меня втягивают в нее — в экранизацию религии. А религиозная беседа на Пасху, да и вообще разговор на эти темы, налагает ответственность на человека, которую способен нести далеко не каждый. О Боге нельзя болтать. О Боге подобает молчать. И, наверное, о религии могут и должны говорить люди, которым Сам Господь велел это делать. А мне никто не велел.

И я начал, уходя от ответа, вспоминать о лагере, где мне посчастливилось встретить по-настоящему верующих людей. Там были православные, были так называемые сектанты, со сроком заключения — 10, 15 и даже иногда 25 лет. Среди них были истинные подвижники, почти святые, хотя не мне судить о святости. Естественно, они думали только о Боге, о вере, о Священном Писании. Но говорили об этом сдержанно и скромно. И нередко с юмором — по отношению к себе, к своей участи христианина. Помню одного православного старика (из "тихоновцев", катакомбная церковь), который в общей сложности, с небольшими перерывами, провел в лагерях и тюрьмах 40 лет. Он начал сидеть за веру с 1919 года и радостно сообщал о себе: — Лично меня Господь миловал: ведь я этой советской власти почти и не видел!..

А римскому режиссеру все хотелось узнать: как это бывает в России, когда Господь открывается людям... Я ему рассказал что-то вроде притчи. Возможно, это легенда, русский религиозный фольклор. Но говорят, это факт, и относится он, по-видимому, к началу 30-х годов, когда православных священников, партиями, увозили на север. Представьте: состав поезда, и в товарный вагон грузят колонну священников. Много стариков, им трудно взобраться по отвесной лесенке. Но смотрит солдат охраны — в дверях вагона, в проеме, стоит Христос и помогает арестантам вскарабкаться. Каждого старика поддерживает за локоть... При виде Спасителя, которого сами священники и не различали, охранник бросил винтовку наземь, упал на колени, уверовал. Ехали мученики, ехали на верную смерть, и Господь им помогал...

— Но почему Христос явился этому солдату, а не священникам? — допытывался режиссер. Я не нашелся, что ответить. Пожал плечами. Вероятно, Господь Сам знает, кому и когда явиться...

А в качестве притчи тот эпизод говорит мне еще о другом: допустимо ли рассуждать о вере по телевизору, если область эта интимная для каждого из нас, таинственная и священная? Если церковь за нашей спиной все еще кровоточит — Христом в дверях вагонзак?..

Впрочем, возможно, в моем непонимании вопросов

режиссера, в нежелании откровенно беседовать на религиозную тематику — сказалась моя историческая или персональная отсталость. Хотя и причисляю себя к православным христианам, но я ведь человек, прямо скажем, не церковный.



Последнее время в русской среде — в метрополии и в эмиграции — особое развитие получила доктрина Религиозного Ренессанса. Она страдает, на мой взгляд, самохвальством (а что может быть ужаснее христианского самохвальства?) и преувеличением успехов на собственно-православной, национальной почве. А в соединении с авторитарными или теократическими чаяниями (церковь вместо государства), с отрицанием демократии и с действительно богатырским ростом Русского Национализма — несет угрозу, в первую очередь, самой же религиозной идее.

Недавно говорили: Россия "выстрадала" социализм. Теперь выясняется: она "выстрадала" Христа. Не надо обольщаться. Мы уже несколько раз подвергались "религиозному" обольщению. И в результате "Святая Русь" провалилась в такой (тоже "религиозный") атеизм, какой еще миру не снился. Не одни безбожники-коммунисты — по их почину (чего греха таить?) "самый благочестивый народ" громил церкви, ругался над святынями, расстреливал иконы из мелкокалиберных винтовок ("Учись стрелять по-ворошиловски!"), принимая эти доски, очевидно, за живых угодников. Еще недавно мы "соборно" поклонялись нетленному трупу Ленина в Мавзолее. Боготворили Сталина. И, проклиная "развратный Запад", лезли на мировой форум с идеей: "Россия — родина слонов"... А нынче снова, оказывается, русский народ — богоносец, вооруженный самой передовой философией, и ждет не дождется Нравственной революции под мысленный малиновый звон сорока сороков...

А реально, в современной России, — нет ни Ренессанса (даже религиозного), ни революции (даже нравственной). Просто нам понравились с детства и запали в душу слова — "Ренессанс" и "революция". И мы — противоестественно, кощунственно — продолжаем соединять "религию" с "Ренессансом" (будучи противниками Ренессанса) и "револю-

цию" с "нравственностью" (будучи противниками революции). Дался нам, видать, за неимением собственного, итальянский Ренессанс (Леонардо да Винчи! Микельанджело!). Далась нам революция! Слова уж больно красивые и поэтично звучат...

Действительно же, происходит в нынешней России (и то хорошо!) не возрождение, а некоторое оживление религиозного чувства и сознания. Выражается это поворотом части интеллигенции — молодой преимущественно и наиболее интеллектуальной — к забытым ценностям, к церкви, к религиозной философии. Воспитанные в атеизме, дети вдруг что-то уразумели во тьме и потянулись читать Библию, которую раньше не читали, посещать храмы, креститься, молиться, обдумывать и обсуждать эти странные планы и замыслы, за что советская власть (оцерковленное государство) осуждает и преследует новых еретиков. Как в древнем Риме, молодое христианство в Советском Союзе это — еретичество. Оно связано с другими ересями: свобода мысли, права человека, поиски смысла жизни и своей индивидуальности... Это удивительный, но естественный процесс. Русская интеллигенция всегда жила сверхличными целями, "высшей идеей". Долгое время эту потребность в "высшем" питал "социализм". Теперь он выветрился, слава Богу, и, миллионными убийствами убив себя, сошел на нет как "вдохновляющая идея". Но свято место пусто не бывает. На смену пришли "духовные интересы" и среди них - религия.

Само "диссидентство" и "правозащитное движение" в России приняли образ не политической оппозиции, не борьбы с режимом, но — осмысления действительности и нравственного, духовного ей сопротивления (независимо, у атеистов это появляется или у верующих). Здесь на первом месте — совесть (в соединении с ищущей мыслью). Правильно именуют нынешних политзаключенных в СССР — "узниками совести".

Не побоюсь сказать: юные христиане стали сейчас умственной элитой страны. И это связано с корнями, с прошлым, с возможностями народа. И, видимо, не случайно в новой русской словесности с неожиданной силой зазвучала "религиозная боль".

И все же — не будем преувеличивать. Массы русского населения прозябают в своем "исконном", советском атеизме, а закончив семилетку, развиваются в ту же сторону, пораженные "научным открытием", что Бога — нет. Громадные пространства деревенской и провинциальной России "церковно обслуживают" лишь неграмотные старухи. А народная молодежь, разуверившись в идеях, ищет не Бога, а мотоцикл и телевизор. Поллитру. Квартиру. В этом смысле "Безбожная Европа" куда более традиционна и сохраняет бережнее христианское достояние, нежели "патриархальная Русь"...

В этих условиях наши "ренессанты" утверждают, например, что "только православные могут считаться русскими". Ничего себе отбор: 80% русского населения сюда не входят. По счастью, расизм трудно привить России. Какой только крови не перемешано в русских. Но при отсутствии расового единства таковое пытаются возместить — православием. И это опасно. Православная Теократия в условиях современной России — все равно что "социалистическая революция" в промышленно-отсталой стране (с небольшой прослойкой "сознательного пролетариата"). Утопия, конечно, но — осуществимая в принципе, — в виде фашизма, — которым уже переполнены ожесточенная страна и государственная советская власть, давным давно променявшая Интернационал на Великодержавие. Недостает православия в качестве связующего, авторитарного звена.

Было: Государство мы превратили в Церковь (без Бога, с Лениным в Мавзолее и всемирным коммунизмом). Остается: Церковь — последнее упование — превратить в национальное государство, со всеми вытекающими, естественными государственными обязанностями (промышленность, цензура, полиция, армия и т.д.). Мы к этому подошли — альтернатива: либо миру быть живу, либо России... И это самое ужасное. Антихрист. Маленький, русский, социалистический антихрист, с завидущими глазами, провозглашает Теократию. Православный Ренессанс...

Христианство, при всех непомерных требованиях к человеку, сохраняет понимание, что идеальное общество (по Евангелию) не построишь человеческими силами. Более того, оно было бы греховно и противоречило бы религии,

которая "не от мира". В этом смысле монастырь всегда служил границей между Богом и государством. Стереть границу и — крест над тюрьмой вместо красного флага. Говорят, тюрьма от этого смягчится. Что православный коммунизм, национализм, фашизм будут лучше и гуманнее тех, которые уже были без этого эпитета. Допустим, лучше. Но каково Кресту в этом сочетании?..

•

В начале века русский религиозный философ В.В. Розанов — противник либерализма, прогресса, революции, демократии, социал-демократии — писал в "Опавших Листьях":

"Повидимому (в историю? в планету?) влит определенный % пошлости, который не подлежит умалению. Ну, — пройдет демократическая пошлость и настанет аристократическая. О, как она ужасна, еще ужаснее!! И пройдет позитивная пошлость, и настанет христианская. О, как она чудовищна!!! Эти хромьенькие-то, это убогонькие-то, с глазами гиен..."

•

Жизнь нельзя связать с Евангелием. Жизнь всегда сопряжена с Евангелием. Живешь себе, поживаешь, и вдруг чувствуешь — сквозь кожу — тоску по тексту Евангелия, как по ткани, по клеткам, составляющим тебя, которых недостает, нехватает, как нехватка кислорода...

События священной истории, включая Каина с Авелем, изгнание из рая, потоп, — удивительным образом соответствуют нашей микроскопической, ежечеловеческой жизни. Чуть ли не всякий день мы претерпеваем и это изгнание, и, случается, брак в Кане, и даже чудо прокормления тысячной толпы несколькими хлебами. И введение во Храм, и лобызание Иуды. В этом качестве Евангелие — при всей его неотмирности, безгрешности, при всей безмерности смысла — как-то странно и органично ложится (органичнее прочих книг и сказаний) прямым отражением на общее наше и частное существование. Лишь упаси Боже при этом священнодействовать, обращая себя персонально в сюжет небесного Промысла. Но и мы, живя просто, словно переживаем наново, в уменьшенном и непривлекательном виде, и Рождество Христово,

и Его заушение. Где-то в нашей действительности содержатся, должно быть, в скукоженном образе, евангельские семена.

Не потому ли искусство — даже и Ренессанса, и позже, удаляясь от Средних Веков, — продолжало наполняться божественными сюжетами? Пускай искаженными, но и получаемыми отовсюду сообщениями о прохождении того же пути повседневным человеком. Ведь все это было, было с нами. И искушение в пустыне. И моление о чаше. Задатки (и отклонения) непрестанно прорастают сквозь замусоренную землю. Писание становится канвой и коррективом, где все предварено и заложено в чистом виде. Единственная книга. Единственный текст, лежащий в основании жизни. Точно не было ничего и нет, кроме священных текстов.

•

С преимуществом православной религии и христианской культуры мне довелось познакомиться опять-таки в Мордовии — там, где Святое Писание находится под запретом и переписывается от руки. При каждом очередном обыске эти листочки изымают, а они снова появляются и расходятся по зоне... На закате, на рассвете (или пока не рассвело) за каменной баней, за длинной дощатой уборной, стоят на коленях люди — лицом к запретке, к проволоке, к забору, к вольному полю. Пройдет надзиратель — разгонит, пригрозит. Но, смотришь, опять, за сортиром кто стоит и молится...

Вскоре после того, как меня привезли в лагерь, вечером, за час до отбоя, подошел ко мне человек и спросил осторожно, не хочу ли я послушать чтение Апокалипсиса. Он повел меня в кочегарку, где легче было укрыться от глаз доносчиков и начальства. Там, в полутемной, похожей на пещеру, норе, уже собрались и жались по углам, на корточках, какие-то люди, и я подумал, что сейчас достанут книгу, либо список из-под бушлата, но я ошибся. В красных отблесках печки встал человек и начал читать Апокалипсис — на память, наизусть, слово в слово. Когда он умолк, кочегар, который был здесь хозяином, пожилой мужик, сказал: — А теперь продолжай ты, Федор! — И встал Федор и читал на память следующие главы. Дальше

был пропуск, потому что знавший продолжение ушел работать в ночную смену. — Ну, он отдельно прочтет, в другой раз, — сказал кочегар и вызвал Петра. И тут я понял, что все основные тексты Священного Писания распределены между этими зеками, простыми мужиками, сидевшими в лагере по 10, 15, 20 лет. Они знали наизусть эти тексты и, встречаясь тайком, время от времени повторяли, чтобы не забыть.

Вся эта странная сцена напомнила мне тогда роман американского фантаста Рея Брэдбери — "451° по Фаренгейту". 451° — температура, при которой горит бумага. А в романе Брэдбери изображается будущее "идеальное" государство, где все нормализовано и поэтому запрещены книги и бумага, запрещено читать и писать. Книги, когда их находят при обыске, и лица, владевшие книгами, предаются огню. Но в конце романа рассказывается, что где-то за чертою города, в пещерах, по ночам все еще собираются люди, и один говорит: "Я - Шекспир", а другой: "Я — Данте", или что-нибудь в этом роде. И это означает, что один что-то помнит наизусть и читает из Шекспира, другой - из Гете, третий — из Данте...

Мужики-лагерники в кочегарке с таким же успехом могли бы сказать о себе. Один: "Я — Апокалипсис, глава 22-ая". Другой: "А я — Евангелие от Матфея". И так далее, по эстафете, кто сколько помнит. И это была культура в ее преемственности, в ее изначальной сути, продолжающая существовать на самом низком, подземном, первобытном уровне. По цепочке. Из уст в уста. Из рук в руки. От поколения к поколению. Из лагеря в лагерь. Но это и есть культура, может быть в одном из чистейших своих и высочайших проявлений. И если бы подобных людей и такой эстафеты не было на свете, жизнь человека на земле потеряла бы смысл.

Луи Мартинез

## ЗА МИР И СЧАСТЬЕ

*Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй...*

*"Удивительно молодо и ярко выглядела родная столица"...*

... Как явствует из сводки погоды, речь идет о тусклом февральском деньке, который может повлиять на самочувствие больных, страдающих гипертонией, бронхиальной астмой, желчнопочечнокаменной болезнью... но:

... *"Удивительно молодо и ярко выглядела родная столица вчера, в день выборов в Верховный Совет РСФСР и местные Советы народных депутатов. Как на большой и радостный праздник пришли миллионы москвичей к избирательным урнам, чтобы отдать свои голоса за кандидатов нерушимого блока коммунистов и беспартийных, за дальнейший расцвет любимой Отчизны... Празднично одетые, с цветами в руках, шли москвичи на избирательные участки. С самого раннего утра по улицам и площадям звенела музыка, пламенели полотнища транспарантов, развевались на стенах домов алые стяги. Но вот опустился вечер, город притушил огни, готовясь к новому трудовому дню"...*

Это из "Вечерней Москвы" за 25-ое февраля сего 1980 года.

Лишь образчик — на вес золотника — многотонного бумажного потока, но по капле воды можно восстановить состав однородной жидкости, так что можно отбросить

остальные статьи первой страницы: "Высокая активность", "Наш курс — Созидание", "Позывные Красной Субботы", "Пример для всей Страны". Везде жемчужины. Везде печатная речь безразличной струей покрывает исполнение гражданского долга, вероятно халтурную работу на Семеновской площади, добросовестный труд метеорологов, сущее и не сущее, кое-что растягивая, кое-что замалчивая. Везде жемчужины, но мы лучше прислушаемся к праздничному перезвону:

*"Наступает торжественная и всегда волнующая минута вскрытия избирательных урн. На стол ложится ворох бюллетеней. Начинается подсчет голосов... Все 1895 избирателей отдали свои голоса за Леонида Ильича Брежнева... Против не проголосовал никто"...*

Тут, слегка покраснев, вязнешь в раздумье. Как определить содержание, не содержание... форму? Нет. Природу, сущность? Какая тут может быть сущность? Слова брезгливо отскакивают. *Что* это такое? С чем бы сравнить хотя бы?...

По обнаженной условности — как будто искусство. Но источник и цель этих фраз за пределами эстетического воспитания. Читаешь и наслаждаешься, конечно, но как-то косо, с опечаленной ухмылкой. Пародия? Пародия скорее в уме саркастически настроенного читателя. Нет-нет. Все здесь гладко, неярко, скучно-закономерно, как в сером ученическом сочинении. Значит, искусство на самом низком уровне? На высоте школьной скамьи? С оглядкой на вкус требовательного и недалекого учителя? Автор — А. Болотин. Заглавие незатейливо: "За мир и счастье". Подзаголовки честно излагают содержание статьи: "Полное единодушие избирателей", "Сердечные надписи на бюллетенях". Чисто описательные моменты ("но быстро идут стрелки часов. Идет подсчет голосов"... ) вписываются в более отвлеченные и выпренные формулировки про "волнующую демонстрацию монолитного единства партии и народа", про "верность делу Октября, идеалам коммунизма". Да. К простецкому ученичеству следует прибавить оттенок табельной литургичности: празднество — всенародное. Сердца направлены не куда-нибудь, а только горе. Люди спешат к алтарям, где происходит ритуальное возобнов-

ление священного договора: "Ты — наш, а мы — Твои". Действо обязательное. Повторяемое. Возможны и последующие возлияния... Литургия...

И со злобой содрогаешься от таких — пусть шуточных — метафор. Ведь и искусство и литургия — виды человеческой деятельности, как бы рассеяны или недобросовестны ни были их исполнители ... а здесь? К *кому* обращены эти слова? *Кто* их написал? О *ком* идет речь? Ни к кому. Никто. Ни о ком. На каждый вопрос наплывает слепое пятно забвения, полубытия, как будто уперся в туман. Ты ошупью... Впереди ничего нет. В этих строках равно отсутствуют две главные функции речи: коммуникативная и игровая. *Ни о чем* здесь не говорится. Говорится о несобытии, о том, что могло бы и не быть или произойти через десять или сто лет. А говорит почти никто. Легко заменимый Болотин... Не обычный человеческий язык. Тоже не глоссолалия какая... Вообще не речь. А что именно? Подobie речи? Налет маразма на когда-то живом языке? Отверженное логикой сочетание бытия и небытия? А может быть, бытие и небытие не слишком человеческие понятия и не подходят к *такому*? В отношении нечеловеческого неприменимы человеческие мысли, сравнения, метафоры. Скорее всего опасно очеловечивать *такое*...

Вот загадка: общество состоит из людей, но они так и не могут создать человеческое общество, даже просто общество. Где-то таится злобный зазор. Где-то в механизме выхлопывается человечность, даже общественное начало. А может быть зазор именно в речи? В том, что этот язык источник небытием? Распахнулась дверь в Ничто: ... катись!..

• • •

Слушай! Может, не надо! Опасно! Все эти мертвые слова, как чудовище из американской картины ужасов, того и гляди вырвутся из строк, вопьются тебе в горло, вгрызутся в легкие, вопрутся хоботами в грудь. И задушат. Из тебя сделают перевертня! Сам заговоришь на этом языке! Уже заговорил... Нет, с этим нельзя шутить. Все метафоры надо перевернуть — рылом в слякоть нечленораздельного хрюканья! Что я? бедные свиньи! Надо глубже, глуше: втихомолку подводных засад, в глухоту подвальных расправ! К изначальной Клевете! К дьявольской

претензии на бытие... К инерции, злобно отлетающей от того начала, где сияет Слово.

• • •

Владимир Ильич Ленин любил ссылаться на Иудушку Головлева. Его именем он выборочно пачкал царское правительство, русских либералов, профессора Капустина, Юшкевича, Троцкого. Он даже обмолвился однажды о "Иудушкином поцелуе". Ему не интересна была сущность этого литературного героя, некогда было рыться в тайнах человеческой речи. Он другим был занят. Но, так же как суровый Дант не презирал сонета, суровый Ильич не брезговал штампами. По привычной многим вождям торопливости, он в Иудушке разглядывал лишь искусного вруна. Он в нем полюбил соблазн — одним словом опозорить оппонента. К тому же имя прекрасное, на редкость склизкое. Он сам, едва разбираясь в своем основополагающем мировоззрении, смутно, пожалуй, и пугливо рисуя себе образ будущего Человека, уверенно нанизал туманность новой страны на твердую ось. В ожидании чего-нибудь повеселее он положил в краеугольный камень надуманной башни образ Иудушки, то бишь Иуды — предательство как непрременную подоплеку инакословия. Кто не говорит, как мы, тот не с нами. Кто не с нами, тот против нас. А кто против нас... Ключевым понятием нового завета стало не обетованная земля — куда Ленин, как Моисей, не вступил — а осквернение чужого слова. Словом же. Великий вождь был по преимуществу тактиком, не фантазером. Нутром он понимал, а может ничего не понимал, но знал, что с людьми и вещами справиться нелегко. А со словом можно. Оно податливее. Новой эре, за неимением крепкой мысли и достойного наследника, он завещал язык, выкованный в нечестных спорах с презираемыми противниками, любительскую научность, погромную риторику и не столько нетерпимость, сколько метафизическую, животворящую нужду во враге. При таком завете крепкая мысль и наследники оказались излишними. Но были наследники. И будут. Но славься они трубкой и трупами или открытием Малой Земли — все равно: они не хозяева, а лишь управляющие. Хозяин — Язык. Всесильный, который может возвеличить или замалчивать вождей, воскрешая или навсегда

хороня память о палачах и жертвах. Монополия слова — за властью. Она не только словом сильна. Но только словом — власть. Она в слове гнездится и жиреет, выделяя его из себя. Как паутина пауку, ей слово — жилище, защита, оружие и искусство. А вот жертвы не словесные. Нет. Магия... Власть слова над жизнью... Орфей заговаривал одних зверей...

Слово заклинающее, оговаривающее, заглаживающее, а где надо стыдливо забывчивое, заключающее в себе бездны неистощимого молчания, Слово полное, где бесшумно проваливаются Лубянки и психушки. Слово бодрящее, без которого и танки не сдвинутся с места. Слово волшебное, пятнающее оторопевших жертв то неожиданным клеймом предательства, то позором незваного "освобождения"... Вся советская власть держится на нечестном слове. Остальное все — люди, вещи, вплоть до начальства — отпирается, как может, погрязает в бесчестии, в бесплодии, в злобном бессилии. Ничего... Лишь бы не порвалась паутина. В 56 году паутина не на шутку задрожала. Своей возней Хрущев чуть не распорол воздушное строение. Пожужжал и смолк. Обволочло и хруща...

В большей степени, чем повальные убийства, экономическая немощь или энтропия захватничества, государственная монополия неживого слова обнажает безысходную и поэтому опасную ущербность советского строя сверху донизу. Оно скрепляет ложное, но необходимое "родительство" власти и дополнительно ложное и необходимое "детство" подвластных. В сердцевине этой странной системы — безотчетная игра. Невеселая понарошка. Фальшивый негласный договор, по которому все подвергаются обоюдным законам извращенной семейности. С одной стороны — подарочки, угрозы, наказания, сказочки, елочки. С другой — то жалкое заигрывание, то кукиш в кармане, вечное ожидание шлепка, милая безответственность, ребячливые реванши: заочный мат, курение в сортире, шпаргалки, хулиганство, беспощадная детская жестокость. А материнская власть неутомимо поучает, поощряет, отговаривает, оберегая приемышей от ненужной, нелюбимой да и невозможной зрелости:

— Мы лучше тебя знаем... Кушай, не болтай... Нельзя!

Не положено... А вот подрастешь — пожалуйста!.. Иди в угол!.. А ну-ка, спой песенку дяденьке!.. Папа у тебя самый сильный... Кто дал почитать? Кто? КТО???. Зачем тебе бы за границу?.. Не хочешь, не надо... Напрасно с хулиганами связался. Не с нашего двора. Захо-чу — в чулан запру, захочу — пристрелю на месте! Кто тебя научил про маму-папу так говорить? Спускай штаны, гад? Как зачем? Покажу тебе зачем! Молчи! Кто тебя кормил-поил? Мы лучше тебя знаем... Детки, хотите, я вам расскажу, как вы все проголосовали за меня, а?..

Узел этой безрадостной комедии — не вполне осознанное, но неискоренимое и всеобщее сомнение в законности власти. Злоупотребление силой со стороны аппарата — лишь самозащитный, органический способ удерживать недоверие в пределах допустимого ворчания. Население, в свою очередь, защищается от узурпаторского, но кровно близкого произвола упорным сопротивлением на пороге сознательности, непобедимым и тупым отказом от всякого содействия с привычной, своей — то есть любимой и презренной, — но запятнанной самозванством властью. Партия и подвластные сплочены глухой памятью о ровно разделенном позоре. Своеобразие советского строя в негласности разделенного греха. В этом есть что-то похожее на моральный кодекс уголовников, на роковую солидарность обреченных. Такой союз — нерушим. Мало надежд его расколоть. Но такой союз — постыден. Он поэтому не может обойтись без идеологического бреда, который его постоянно снабжает неопровержимой баснословной законностью.

Тугое сплетение почти неуловимой — наполовину завираемой или скрываемой — действительности и нереальной идеологии влечет за собой философски и жизненно опасную привычку к небытию как естественному дополнению и завершению существования. Это анафилактическая, почти неизлечимая болезнь. Она ведь обеспечивает целому народу льстивое историческое призвание и освобождает его от ставшей невозможной политической и моральной ответственности, загоняя вниз и вширь единственно возможные проявления

свободы\*. Пьянство, прогулы, хулиганство, коррупция, безнравственность, попустительство в семейной и половой жизни, матерщина, но также теплота людских отношений, сладкое солдатское панибратство, мечтательство, самиздатские прятки, писательство в стол и на Запад — качественно несравнимые, разные по охвату и не одинаково поощряемые шалости, которые равномерно включаются в устройство "семейного" механизма. Поэтому замена скрепляющей хаос идеологии другой, даже противоположной идеологией — невозможна или обречена на применение насилия над беспечно пассивным населением. Сложившаяся в Советском Союзе система исходит не из голого произвола власти, но из трагичного содружества партии и народа, которое непонятно и неоспоримо высказалось не только в появлении Союза, но и в закреплении кровью культа Сталина, не говоря о второй мировой войне...

Подточенный небытием идеологический язык не избегает общей участи всего ущербного. В отличие от художественного языка, он не замыкается в эстетическом самозерцании. Его коренная порочность выгоняет его наружу — подтачивать живое. По непреклонному закону он на все накидывается в надежде насытить свое пористое тело. Его конечная, ему невидная цель — расправа с жизнью, всеобщее уничтожение, не по какому-нибудь эстетству, а потому что калека не может не отомстить другим за свою калечность.

Его поле действия — все ущербное в мире, но и все слабое, нищее, обиженное, что кричит из пучины, разувшись в Слове Божьем. Вавилонский язык идеологии страшен тем, что он извращение Слова, на него откликается, его передразнивает, так что порой их не отличить. Он вплетает Нагорную Проповедь в стратегию классово-борьбы, обещает новое Царство, влечет за собой новую церков-

\* Борьба против политической и моральной сознательности не результат какого-нибудь злобного расчета. Тоталитарная власть не только по своей наследственности, но в своей сущности не может допустить сосуществование с какой угодно цельной и самостоятельной системой, в которой она способна разглядеть лишь *заговор*. Это и объясняет ее остервенение в борьбе с любой органической системой: религия, мораль, экономика, общество... Даже природа, да и самый язык — ее непримиримые враги...

ность, новые обряды, новые таинства, но и миллионы жертв. Оспаривая и высмеивая любовь к Отцу, он кабалит людей страшному и смешному, безымянному, даже не тирану, а начальству. Вместо радостного сыновства — голловлевский мирок в масштабе вселенной с унижительной молитвенностью, непролазным свиным уютом...

• • •

Читатель уже понял, о ком здесь идет речь.

Из всех русских прозрений мирового зла самое правдивое в обнажении внутренних законов пустословия — щедринский Иудушка. Гоголь удивительно разгадал суть дьявольской претензии на бытие, но свое пугающее открытие он закидал фантастикой и чуть неловкими поучениями. Достоевский, откопавший в самом себе подпольного человека и выведший на свет острый язычок и бисерную речь Петра Степановича, попался на опасную удочку: от мирового зла он открестился, объявив его чужеродным русскому человеку. Против нечаевщины он выдвинул довольно непристойное национал-христианство — опять-таки идеологию, а "мессианство", основанное на вековом безмолвии, на силе, на болезненной зависти и громадности территории, скинуло с себя христианскую оболочку и взялось за мировое танковое братание. Неосторожное и кощунственно-романтическое предпочтение Христа Истине — вопреки евангельским словам — открыло путь блоковскому снежному соблазнителью...

А Иудушка не поддается подделке. Советская критика старается колом пригвоздить его к могиле. Он, мол, представитель русского дворянства, или идейных противников Щедрина, то-есть Ленина: русского правительства, русских либералов, профессора Капустина, Юшкевича, Троцкого и "всякого лредательства". Наричательное имя чужой речи — ненужной! опасной! преступной! Имя ему легион. Он может поочередно занимать самые ответственные места по казенной демонологии. Ханжа. Либерал. Фашист. Не наш... Правда, в полемике сам Щедрин не был чужд подобных крупных и злобных обобщений. Но его Иудушка ведь не либерал, не почвенник, даже не барин. Даже не ханжа. В нем неумолимо разыгрывается другая комедия. Он не удобная личина для обличения противников. Он

намного ближе к Щедрину. К каждому из нас, к банальной тайне всякого детства. С ним не так легко расправиться... Более пяти лет Щедрин возился с этим противным, липким героем, как будто нереальным, но чем-то родным, как будто в нем таилась разгадка самых больных вопросов. От него не мог оторваться. Причем он себе не облегчал задачу удобным упрощением и долго не задерживал его в рамках готового типа. Иудушка выскальзывает из напрашивающихся характеристик и, вырываясь из рук, манит к себе. Не к пустоте своей, нет. А к какой-то неутомимой, загадочной *работе*. В нем что-то похожее на пугливый всеядный инстинкт. Голая бессмысленная деятельность. Нечеловеческая? Опять тупик. Опять смысловой вакуум. Недоумение, как перед строками из "Вечерки". Не *кто*, а что?

От русского барства мало что осталось в Иудушке и то полиняло: духовная грубость, засушное тунеядство. Остальное выветрилось: хлебосольство, размах, бабье капризничанье. Исторические события на нем почти не оставляют следов. Крымская война, осада Парижа где-то мелькают вдаль. Отмена крепостного права и та почти незаметна в головлевском захолустье. Это не место для событий. Даже гибель героев наполовину или прямо закулисная. В Головлеве нет социологии, как и нет экономики, нет даже климата. Иудушка как будто вне истории. Правда, без навыков крепостного права, он бы не завел трех любовниц. Но можно представить его без всяких любовниц. Само слово как-то не клеится с его невообразимыми совокуплениями. Любовницы... Подумаешь... К истории, к среде, к стране он пришит теми нитями, какими пришит его автор: ну, русский, помещик, бюрократ. Не писатель ли? Нет, но...

От писателя у него — упорная, почти механическая работа над словом. Он по-своему художник. Мастер заволакивать бездну. Ханжа? Да ведь пьяное отупение ему заменяют длительные стояния на молитве. А впрочем, где молитва неуместна, там народные пословицы, родительские советы, успокаивающие уменьшительные формы приходили на помощь. Молитва ему нужна была как готовый бланк, по чиновничьей инерции. Да разве из чиновников кроют *таких!* Скорее наоборот: такие идут в чиновничество, как в теплый кокон. Помещик... Да не подобно ли ему,

немел, скажем, тот же Ленин, жуя ватные слова? Русский? Да, все люди стареют, все люди словами защищаются от страха... От него веет мировым, не только русским, предсмертным холодом.

Значит, обобщенный образ всякого старческого маразма... Но мы его застаем сорокалетним, пышущим здоровьем! И он почти не изменяется за двадцать лет. Ну, он губит братьев, сыновей, незаконнорожденного младенца, спаивает племянницу, отправляет мать на ворчливый сонный покой, но все эти домашние происшествия на нем тоже не оставляют следа. Он не старик. Он постаревший ребенок, незащищенный, пугливый, злопамятный, застывший на страхе к Бабе-Яге и испуганных заклинаниях. Все его бесшумные преступления, все его мечтания коренятся в непроглядной темноте детских недоразумений, недопонятых сказок, неосознанных правил, игры в большого, ябедничанья, нашептанных доносиков, залежалых мщений. Он духовный коротыш, мнительный, мстительный. Он маленький человек! Да, он самый! Родословную он ведет от Акакия Акакиевича. Он тоже призрачен. Он мощен. Он живуч. Он весь скроен из детской цепкой обиды. Но не занимается ночным хулиганством, как обокраденный Акакий, и не пугает мир, как кремлевские обидчивые плебеи. Он просто художник мертвого слова...

— Кровопивец!

Это его семейная кличка. Братья в нем учуяли потенциального убийцу. Поняли, что мертвые слова неуклонно порождают смерть. В нем уже замыкается кольцо идеологических черных волшебств: ущербность уходит в ложь, ложь наливается кровью... Но он еще не идеолог, он предвестник идеологии. Он пустырь, в который она пускает корни. В его образе Щедрин раскрыл третью, никем до него не разгаданную функцию слова: слова, как инерцию, защищающую от жизни и смерти, спасительную, как бред, не допускающую малейшего оживительного прокола. Лишь бы не сквозило, господи!

• • •

"Светильник для тела есть око. Итак, если око твое

будет чисто, то все тело твое будет светло; если же око твое будет худо, то все тело будет темно. Итак, если свет, что в тебе — **тьма, то какова же тьма?**"

Матф. VI , 22-23

• • •

P.S. В редакцию.

Опять не оберешься негодующих обвинений в русофобстве. Ведь многими отвергается право чужака не на правду — куда! — а на русскую речь — что обнаруживает печальное стремление к замкнутости и странное сомнение в универсальности родного языка.

Статье я не хотел бы придать поучительную концовку, но в отношении "русской загадки", "русского бога", "общего аршина" и подозрительной веры в непредмет веры — я придерживаюсь довольно простых взглядов.

Русский человек таит в себе лик Божий, не как русский, как ему давно втолковывают, а как человек. Поэтому его настигшая тьма ослепляет каждого человека на свете. Поэтому выявление пленного света — вряд ли дело тех или других в отдельности. Христос распят в каждом человеческом страдании, но все человеческие страдания, даже насчитанные миллионами жертв, не заменяют и не множат в запас распятие Христа. Они не залог местного возрождения. Пролитая кровь — едина. Как один грех против Слова. Как едина правда.

Борьба против лжи, разоблачение тоталитарного слова, даже внутри обольстительных духовных проповедей — всеобщее дело, поскольку Слово дано всем.

Превращение Бога в семейного или национального, просто кивотного божка — та же идеология, которая грозит извращением. Вавилонский язык намок в крови. Но национальная идеология, даже подкрашенная наукой — это было — или религией — тоже бывало — неуклонно стремится к тоталитарности: к захвату Слова Божья. Мир слишком отравлен гнилым словом, чтобы мы стали его перекраивать по принципу этнической доски почета.



## ВОПРОСЫ

---

## ИСТОРИИ

Михаил Рейман

БУХАРИН

И АЛЬТЕРНАТИВЫ СОВЕТСКОГО РАЗВИТИЯ

Недавно появилось русское издание книги С. Коэна "Бухарин". Эта нужная, полезная и эрудированная работа вышла впервые на английском языке в 1973 году. Значение книги Коэна далеко не исчерпывается ее научным содержанием. Она в наиболее полном виде формулирует представление о Бухарине как об альтернативе Сталину и его строю, которое свойственно определенному направлению общественной и политической мысли не только в СССР, но и за его рубежами. Это создает почву для необходимой дискуссии по ряду вопросов советской истории.

Мы хотим оставить в стороне вопрос, который безусловно сыграет свою роль в русских откликах на работу Коэна, а именно вопрос о том, правомерно ли вообще говорить о возможности иного социализма чем тот, который представлен Сталиным или современным "реальным социализмом". На Западе эта проблема неизбежно ставится иначе, более дифференцированно. И дело не только в том, что здесь отсутствует прямой, осязаемый опыт сталинизма и реального социализма. Западное мировосприятие в своей основе более прагматично, оно

не придает, как правило, идеологии того исторического значения, как мировосприятие русское. Существенным компонентом западного понимания является более чем столетний опыт положительного воздействия рабочего и социалистического движения на общество. Его никак не приходится сводить к проблематике коммунизма, а тем более сталинизма или реального социализма. Это не может не накладывать своего отпечатка и на книгу Коэна, и на подход ее автора к проблематике Бухарина. Такой подход представляется нам более оправданным, чем простое отрицание всякого положительного содержания в социализме.

Действительно спорные или дискуссионные проблемы книги Коэна лежат, по нашему мнению, в несколько иной плоскости. От Бухарина и его времени нас отделяют десятилетия полного господства сталинизма и последовавшего за ним реального социализма. Это не может не исказить нашей оптики. Возникает не только опасность подчеркнута отрицательного отношения ко всему прошлому СССР, но и опасность его идеализации.

Бухарин относится к числу привлекательных персонажей советской истории. Он принадлежал к тому небольшому кругу действительно образованных большевистских вождей, которые понимали толк в теории и умели убедительно для современников обосновывать свои взгляды. Поскольку для большевиков этого периода было еще свойственно уважительное отношение к теории, это уже само по себе обеспечивало Бухарину высокий авторитет в партийной среде. К тому же Бухарину были присущи и некоторые черты характера, вызывавшие симпатии современников: доступность, мягкость и отзывчивость в обращении с людьми, темперамент молодости.

Не менее важно, однако, и другое. Шок, вызванный в 1956 г. разоблачениями сталинизма на XX съезде КПСС, привел к поискам такой традиции советского прошлого, которая могла бы стать обоснованием положительных изменений в современной коммунистической политике. Внимание все больше привлекал период НЭПа. Он был не только относительно наиболее свободным периодом советской истории, но и периодом, когда широко применялись

принципы рыночного хозяйства, ставшие актуальными при разработке хозяйственных реформ.

Бухарин был одним из самых ярких советских политиков этого периода, он был теоретиком НЭПа. В работах Бухарина система НЭПа была изложена в наиболее обобщенном виде и стала тем самым доступной для нас. Внимание к Бухарину привлекала также его судьба нереабилитированной жертвы Сталина. В результате возникло представление о Бухарине, которое не только передает, но и пытается тщательно обосновать в своей книге С. Коэн и которое заслуживает критического рассмотрения.

Необходимо оговориться: мы не хотим отрицать того, что Бухарин был выразителем иной тенденции в советском коммунизме, чем Сталин; мы никак не хотим разрушать того общего положительного впечатления, которое на достаточно мрачном фоне советской истории вызывает его личность. Тем не менее это не избавляет нас от обязанности делать различие между Бухариным как исторической личностью и Бухариным как легендой, собирательным понятием для обозначения определенной политики, от обязанности видеть в его деятельности не только положительные, но и отрицательные черты. Именно это заставляет нас говорить о Бухарине более критично.

### Бухарин и его место в системе советской политики

Начнем с того, что представление о Бухарине как об оппоненте Сталина 'восходит к 1929 г., когда между ними произошел открытый разрыв. Сталин, стремившийся тогда получить от крестьян недостающий хлеб, прибег к методам прямого ограбления деревни, вылившегося затем в насильственную коллективизацию сельского хозяйства. На этом пути он столкнулся с известным сопротивлением партии, которое возглавили Рыков, Бухарин и Томский. Среди критиков Сталина Бухарин оказался при этом наиболее уязвимым. Поэтому Сталин сосредоточил главный удар на нем, назвав Бухарина вождем правой оппозиции. Тем самым он дал импульс к переоценке всей деятельности Бухарина, изображавшейся теперь в виде одной цепи крупней-

ших ошибок, что способствовало оформлению взгляда на Бухарина как на фигуру, противостоящую Сталину.

Действительные взаимоотношения между Сталиным и Бухариным мало соотносятся с этой картиной. В 20-е годы Сталин и Бухарин долгое время были выразителями одного и того же политического курса. Среди общественности, о чем пишет и Коэн, они воспринимались не как противники, а как союзники. Все, что мы знаем о тогдашних противоречиях между Сталиным и Бухариным, относится преимущественно к области различных политических акцентов и деталей.

Необходимо сказать и другое. Своей позицией в руководстве партии Бухарин был обязан не только своим несомненным политическим и теоретическим талантам. Она была обусловлена, об этом нередко умалчивается, также исключительной активностью Бухарина во внутрипартийной борьбе против оппозиции. Такую активность Бухарина нельзя объяснить лишь обстоятельствами времени. Для этого достаточно сравнить его поведение с поведением Председателя Совнаркома А.И. Рыкова, занимавшего тогда в советской должностной иерархии второе место после Сталина. Рыков вел себя во внутрипартийных делах долгое время чрезвычайно сдержанно, пытаясь ограничить полемику актуальными для государственной практики вопросами. Вынужденный выступать на активе Московской организации ВКП(б) по такому "деликатному вопросу", как вывод Зиновьева из состава Политбюро, Рыков еще в июле 1926 г. умудрился вставить в свое выступление слова, звучавшие прямой полемикой против Сталина: "Было бы вредным, ненужным, губительным прибегать к каким-либо мерам организационного воздействия в отношении товарищей, которые расходятся с партией в отдельных политических вопросах . . . Оттенки в политических взглядах могут быть; это естественно, это законно. Если преследовать за это, то тогда внутрипартийная демократия была бы пустым звуком . . ." О том, насколько серьезно это было, может свидетельствовать уже то, что к числу таких "товарищей", которых нельзя преследовать за их взгляды, Рыков отнес тогда Троцкого.

Другое дело Бухарин. Во внутрипартийную борьбу он

вступал с полным сознанием своей роли ведущего партийного теоретика. Поэтому Бухарин нередко распространял полемику и на отвлеченные вопросы. На реальные, практические разногласия навешивались целые гирлянды сложнейших, часто весьма схоластических теоретических выкладок. Бухарин не раз и не два "додумывает" за своих оппонентов их идейные и политические позиции, вкладывает в их уста то, чего они не утверждали. Он прибегает также к методам политической и личной компрометации противника, и его вряд ли может оправдать то, что такие методы применялись и другой стороной. В этой борьбе на стороне Бухарина были те преимущества, которые ему давало участие во власти.

Все это не означает, что мы можем ставить во внутрипартийной борьбе знак равенства между Сталиным и Бухариным. Бухарин защищал в первую очередь определенный курс политики, Сталин же стремился к завоеванию всей полноты власти. Бухарин не держал в своих руках нити аппаратных интриг, провокаций и репрессий, он, в лучшем случае, пользовался некоторыми их последствиями. Можно даже предполагать, что ряд приемов Сталина во внутрипартийной борьбе вызывал его несогласие и возражения. Тем не менее остается фактом, что вплоть до 1928 г. Бухарин никогда не доводил такое несогласие до явного протеста. Более того, он не раз брал Сталина публично под защиту от обвинений в политической нечестности. Фракционные интересы, общие со Сталиным, перевешивали у Бухарина остальные соображения. Поэтому Бухарин, как, впрочем, и другие члены советского руководства, нес ответственность за утверждение сталинского внутрипартийного режима.

Мы не можем здесь не коснуться также представлений о Бухарине как о вожде умеренной, по сталинской терминологии, "правой" группировки, которые оказали свое воздействие и на книгу Коэна. Источники действительно указывают на наличие такой группировки в советском руководстве середины 20-х годов. В качестве ее основной фигуры они демонстрируют, однако, не Бухарина, а Рыкова, к которому идейно и политически приближались Председатель ВЦСПС М.П.Томский, Председатель ЦИК М.И.Калинин, Наркоминдел Г.В.Чичерин, украинцы В.Я.Чубарь и

Г.И.Петровский, а также ряд других ответственных работников. Имя Бухарина в этой связи, как правило, не приводилось. Еще в 1927 г., менее чем за год до открытого конфликта между Сталиным и Бухариным, левая оппозиция, т.е. Троцкий, Зиновьев и Каменев, которых вряд ли можно подозревать в незнании основных фактов внутрипартийной жизни, ставила Бухарина не в один ряд с Рыковым, а присуждала ему промежуточную линию поведения между Сталиным и Рыковым. Первые сведения о надвигающемся разрыве между Сталиным и Бухариным относятся лишь к концу 1927 г., когда Рыков якобы предложил накануне XV съезда освободить в интересах внутрипартийного замирения Сталина от поста Генерального секретаря. Бухарин тогда не поддержал Сталина. Это испортило их личные отношения. Понадобилось, однако, еще несколько недель, прежде чем конфликт между Сталиным и Бухариным стал явным и неоспоримым.

Не отрицая известной политической близости Рыкова, Бухарина и Томского, мы можем с определенностью утверждать, что представление о Бухарине как инициаторе правого уклона в ВКП (б), выпестованное Сталиным после 1929 г., не является точным. Дело в том, что Бухарин долгое время относился к иной группировке внутрипартийных сил, чем Рыков и Томский. Он был левым. Вплоть до 1921 г. между Рыковым и Томским, с одной стороны, и Бухариным, с другой, были серьезные разногласия и даже столкновения. Это не могло не сказаться на всем процессе перехода Бухарина на умеренные позиции, на процессе его сближения с Рыковым и Томским.

Бухарин не был инициатором правого уклона, он лишь окончательно присоединился в 1928 г. к уже существовавшей умеренной группировке. Значение этого его шага нельзя недооценивать. Бухарин значительно усилил ее авторитетом своей личности, придал этой группировке большую определенность и решимость. Тем самым он способствовал усилению борьбы против Сталина, резко обострению всего внутрипартийного положения. В возникшем конфликте со Сталиным у умеренных, однако, не было сил для победы. Они боялись полного и бесповоротного разрыва и вскоре проиграли только еще намечавшееся ре-

шительное сражение. В результате этого поражения Бухарин перестал быть реальной альтернативой Сталину раньше, чем он сумел ею по-настоящему стать.

Все эти обстоятельства, характеризующие крайнюю противоречивость позиции Бухарина, показывают, что представления о двух вождях ВКП(б) в двадцатые годы — Сталине и Бухарине — являются чисто поверхностными, внешними.

Бухарин несомненно еще при Ленине относился к числу известных вождей большевизма. Но его нельзя без оговорок причислять к узкой головке партии, представленной в первую очередь именами Ленина, Троцкого, Зиновьева, Сталина и Каменева. Бухарин был представителем молодого поколения партийных вождей, которые еще не достигли зенита своей карьеры. Особенность его положения в партии заключалась также в том, что Бухарин, воздавая должное своему прошлому партийного интеллигента и всей партийной традиции, уделял главное внимание теоретической работе, пропаганде и публицистике, а потому располагал малым объемом личной власти. Быстрому продвижению Бухарина препятствовала также его тогдашняя "левизна", частые отклонения от той позиции, которая защищалась Лениным.

Будучи кандидатом Политбюро уже с 1919 г., Бухарин становится его полноправным членом лишь в 1924 г., заняв место, освободившееся в связи со смертью Ленина. Мы можем смело предполагать, что с его приходом в Политбюро был сопряжен целый ряд политических расчетов. С одной стороны, Бухарин должен был усилить ту группировку сил в советском руководстве, которая была направлена против Троцкого, с другой, Сталин считался с ним как с возможным союзником против амбициозного и честолюбивого Зиновьева, поддерживаемого Каменевым. Бухарин был единственным из тогдашних большевистских вождей, кто мог в известной степени уравновесить в партии тот идейный и политический авторитет, которым пользовались как Троцкий, так и Зиновьев с Каменевым.

Приход Бухарина в Политбюро ознаменовался дальнейшим быстрым ростом его известности и популярности. Именно это и привело к возникновению представления о

двух вождах ВКП(б) того периода — Сталине и Бухарине. Нас, однако, должно интересовать другое. Став полноправным членом Политбюро и внешне одним из наиболее могущественных руководителей СССР, Бухарин не сумел сколько-нибудь серьезно расширить объем своей личной власти. Несмотря на то, что он стал признанным теоретиком и идеологом, руководителем партийной прессы, партийных научных и пропагандистских учреждений, Бухарин не получил места ни в Секретариате, ни в Оргбюро ЦК, оставаясь устранным от повседневного руководства партийным аппаратом. Не лучше обстояло дело с ним как с теоретиком НЭПа: он не приобрел никакого непосредственного участия в руководстве государственным и хозяйственным аппаратом, сосредоточенным в руках Рыкова. Единственной областью практической организационной работы, которая наряду с печатью открылась перед Бухариным, была работа в Коминтерне. Бухарин был здесь необходим как человек, который мог заменить в руководстве этой международной организацией ее долголетнего председателя — Зиновьева. Но Коминтерн имел лишь косвенное влияние на соотношение сил, стоявших у власти в СССР. Тем не менее характерно, что, когда Сталин в конце 1926 г. добился наконец формального устранения Зиновьева из руководства Коминтерна, он вместе с тем ликвидировал и сам пост Председателя Коминтерна. Бухарин руководил Коминтерном в качестве председательствующего члена его Политического секретариата и Исполкома. Его нередко называли, по аналогии со Сталиным, Генеральным секретарем Коминтерна, в действительности же его положение руководителя Коминтерна никогда не было статутарно закреплено.

Мы приходим к выводу: внешне исключительно сильная позиция Бухарина в руководстве ВКП(б) основывалась в значительной степени на той роли, которая ему принадлежала во внутрипартийной борьбе против оппозиции Троцкого, Зиновьева и Каменева. Он был в то же время лишен всех или почти всех возможностей самостоятельно группировать силы, оставаясь в этом отношении зависимым от тех членов партийного руководства, которые располагали большим объемом реальной власти, в первую очередь — от Сталина и Рыкова. Именно эта зависимость заставляла Бу-

харина закрывать на многое глаза, приспосабливаться к сталинскому стилю руководства, к сталинским методам внутрипартийной жизни. Лишь прогрессирующий разрыв между Сталиным и Рыковым поставил Бухарина перед необходимостью выбора. Будучи убежденным сторонником НЭПа, он выбрал Рыкова. В этот момент, однако, с наибольшей полнотой выявилась слабость и уязвимость его позиций. Он пал первым под ударами Сталина.

### **НЭП, Бухарин и Рыков**

Мы уже упоминали о роли, которую сыграл Бухарин в обосновании и защите НЭПа. Заслуги Бухарина здесь несомненны, они составляют наиболее положительную сторону его политического творчества в 20-е гг. В первую очередь Бухарину сегодня мы обязаны своим знанием содержания этой политики. Именно поэтому некоторые авторы, в том числе и Коэн, склонны говорить о бухаринской концепции строительства социализма в СССР. Бухарин, таким образом, оказывается в роли единственного создателя основного направления тогдашней советской политики. Такое понимание НЭПа и значения деятельности Бухарина понятно и оправдано тогда, когда мы при помощи коротких символов пытаемся быстро и доступно передать сложные исторические комплексы и понятия. Оно становится в корне неправильным там, где речь идет о передаче действительного содержания истории.

Исследователь, который не будет замыкать свои интересы изучением трудов одного Бухарина, установит, что многие взгляды, приписываемые сегодня индивидуальному творчеству Бухарина, были впервые изложены другими членами советского руководства. Они нередко излагались советскими руководителями одновременно. Расшифровка такого явления не представляет особой сложности: речь идет об интерпретации решений и мнений советского руководства в целом или его ведущей группы. Об индивидуальном авторстве здесь говорить трудно.

Основы НЭПа были заложены Лениным, идеи которого так или иначе разделяли все руководящие советские политики, в том числе и оппозиционеры — Троцкий, Зиновьев,

Каменев и др. Основные элементы НЭПа получали свое развитие не в порядке теоретической спекуляции, а в результате решения ряда конкретных ситуаций, которые лежали в основе чередующихся внутривнутрипартийных конфликтов. Конечно, в ходе внутривнутрипартийных дискуссий каждый член партийного руководства по-своему интерпретировал весьма широкий круг актуальных политических проблем, на практике же роли были достаточно четко распределены. Отдельные представители правящей группы предлагали материалы, а также проекты решений по тем вопросам, которые относились к доверенному им участку работы. Это уже само по себе в значительной степени предопределяло направление и результаты дискуссии. Предложения по решению экономических и социальных вопросов, составлявших основу НЭПа, не входили в компетенцию Бухарина. Это не исключает, что Бухарин внес в них много своего и нового, но это совершенно исключает возможность его индивидуального авторства данной политики.

Здесь вряд ли возможно заниматься всеми обстоятельствами оформления советской политики середины 20-х гг. Надо, однако, упомянуть о роли хотя бы одного крупного советского политика этого периода, без которого нельзя понять не только НЭП, но и действительное значение Бухарина. Мы имеем в виду опять-таки Председателя Совнаркома Алексея Ивановича Рыкова. В контексте тех лет Рыков, как и Бухарин, не был вполне положительным героем. Он действовал в рамках достаточно жесткой диктатуры и был готов в случае необходимости отстаивать эту диктатуру всеми средствами власти, находившимися в его распоряжении. В то же время он был человеком совершенно иного склада, чем Сталин. Его представления о смысле, методах и целях этой диктатуры значительно отличались от сталинских, что в конечном счете накладывало выразительный отпечаток на общий баланс его деятельности.

Свою политическую карьеру Рыков начал рано. В 1905 г., в возрасте неполных 25 лет, он становится одним из активных организаторов российской социал-демократии и членом большевистского ЦК. Уже тогда определяются некоторые черты Рыкова как политика. Постоянно работавшему в условиях подполья внутри страны, Рыкову

было чуждо многое из большевистской сектантской замкнутости и непримиримости. Еще в 1924 г. — это не могло случиться без согласия Рыкова — его официальный биограф посчитал возможным особо отметить в "Правде" то обстоятельство, что Рыков был в молодости другом народника-террориста С.Балмашева, убившего в 1902 г. выстрелами в упор министра внутренних дел Сипягина. Это было прямым указанием на прошлые связи Рыкова с эсерами, с которыми он сотрудничал в родном Саратове. Более обширными были, конечно, контакты Рыкова с меньшевиками. Он сохранял их частично — разумеется, на личной, а не на политической почве — и тогда, когда разрыв между большевиками и меньшевиками стал бесповоротным фактом. В 1923 г. Рыков, уже будучи заместителем Ленина по Совнаркому, во время своего пребывания в Берлине участвовал в похоронах вождя российского меньшевизма Ю.О.Мартова. Западный биограф Ленина Л.Фишер, знавший лично многих большевистских вождей, так прокомментировал этот факт: "Рыков был в этом отношении бесстрашен".

В октябре 1917 г. Рыков, оставаясь верным своей общей политической позиции, выступил вместе с Зиновьевым, Каменевым, Милютиным, Ногиным и другими против однородного большевистского правительства, за создание коалиции социалистических партий. В отличие от более конъюнктурного Зиновьева он не покаялся достаточно быстро и убедительно, а потому на продолжительное время исчез из состава руководящих партийных органов. За ним прочно закрепилась репутация "правого" и "примиренца". Его политическая карьера казалась оконченной.

Тем не менее Рыкову еще предстояло сыграть свою основную историческую роль. Его время пришло в 1921 г., когда Ленин провозгласил НЭП. "Правый" Рыков был теперь Ленину необходим не только как чрезвычайно способный и опытный организатор, ставший одним из крупнейших знатоков системы советского хозяйства, но и как человек, противостоящий преобладающим "левым" настроениям в партии.

Уже через две недели после введения НЭПа Рыков был назначен заместителем Ленина по Совнаркому. Он был тогда единственным заместителем Ленина на этом посту.

Еще более серьезное значение имели персональные изменения в руководящих органах партии, осуществленные по решению XI съезда РКП в 1922 г.

Решения этого съезда часто комментируются в исторической литературе, поскольку они вели к учреждению должности Генерального секретаря ЦК и к избранию на эту должность Сталина. Ряд авторов считает поэтому возможным интерпретировать решения XI съезда в том смысле, что Ленин вполне сознательно передавал руководство в руки Сталина, давая тем самым санкцию последующему сталинскому режиму. Такая интерпретация вряд ли правильна. Дело в том, что должность Генерального секретаря была тогда задумана не как пост для партийного вождя, а как должность партийного администратора. Весной 1922 г. Ленин не мог предполагать, что уже через короткое время после окончания съезда он будет, по существу, выведен из строя. Он, конечно, "шил" изменения в руководстве не для Сталина, а для себя. С этой точки зрения, было не столько важно избрание Сталина на пост Генсека, сколько введение в состав "левого" Политбюро периода "военного коммунизма" двух правых — Рыкова и Томского. Ленин стремился тем самым создать более благоприятные персональные предпосылки для продолжения НЭПа, и этот его шаг имел для ближайших лет советской власти не менее важное, хотя и менее постоянное значение, чем избрание Сталина. Рыкову предстояло на последующие пять-шесть лет стать основным гарантом этой политики. В партийном руководстве не было никого другого, кто мог бы в равной степени не только теоретически, но главным образом практически справиться с этой задачей.

Введение Рыкова в состав Политбюро предопределило его последующее избрание, после смерти Ленина, в начале 1924 г. на пост Председателя Совнаркома Союза СССР, на котором он оставался вплоть до конца 1930 г. Свою роль, конечно, тогда сыграло также желание ведущей партийной тройки (Зиновьева, Сталина, Каменева) не допустить на этот пост Троцкого, важны были, однако, и политические обстоятельства. Рыков наиболее последовательно выступал против "левой" ориентации на ускоренную индустриализа-

цию за счет крестьянства, проповедовавшей из окружения Троцкого.

Положение Рыкова на его посту было первоначально нелегким. Поддерживая его кандидатуру, Сталин стремился тогда также не допустить на этот пост Каменева, что могло бы значительно усилить положение его основного конкурента в борьбе за полноту власти — Зиновьева. Результатом был своеобразный компромисс. Каменев стал не только заместителем Рыкова по правительству, но и председателем Совета Труда и Оборона, органа, который дублировал ряд функций Совнаркома.

Тем не менее даже такое положение не помешало Рыкову пробиться. Рыков был, конечно, заинтересован в ликвидации тройки, осуждавшей других членов руководства на второстепенные роли. В этом смысле его интересы были сходны с интересами Сталина, который, стремясь освободиться от тяготившего его союза с Зиновьевым и Каменевым, проповедовал коллективность руководства. С другой стороны, Рыков пробивал себе путь не активным участием в партийных склоках, а последовательной защитой своей политической линии, которая была линией НЭПа. О значении его роли в осуществлении этой политики можно судить хотя бы уже потому, что в какие-нибудь полгода Рыков в 1925 г. поднялся в иерархии советского руководства с шестого места (он стоял не только за Сталиным, Зиновьевым и Каменевым, но и за Бухариным и Томским) на второе место, сразу же за Сталиным. С деятельностью Рыкова непосредственно связаны также решения XIV съезда ВКП (б). Этот съезд был назван сталинскими эпигонами "съездом индустриализации" и победы сталинской политики. С большим основанием его можно было бы считать съездом Рыкова и победы политики, рассчитанной на продолжение НЭПа.

Именно понимание этой роли Рыкова создает базу для понимания роли Бухарина. Без той роли, которую играл Рыков в системе руководства, теоретические построения Бухарина утратили бы контакт с реальным содержанием экономической и социальной политики и превратились бы в простой инструмент сталинской борьбы за власть.

В известном смысле вся политика НЭПа в середине

20-х гг. была обусловлена в первую очередь деятельностью Рыкова и Бухарина, к которым в разные периоды присоединялись другие лица, не исключая Сталина — независимо от его непосредственных побуждений. Позицию Рыкова при этом нельзя сводить к роли простого практика. Как уже сказано, он был прекрасным знатоком хозяйства. Положение главы правительства позволяло Рыкову видеть эту систему, а также систему социальных и политических отношений в целом, более полно и всесторонне, чем многим другим квалифицированным деятелям этой эпохи. Должность позволяла ему также быть инициатором ряда политических шагов. Рыков не был теоретичен в бухаринском смысле этого слова. Однако тот, кто сегодня даст себе труд вчитаться в старые доклады Рыкова, легко придет к заключению, что они не только конкретны и для советского политика того периода часто необычно открыты и откровенны, но отличаются также глубоким знанием темы и живостью мысли. В то же время не одна работа Бухарина кажется нам сегодня не только схоластичной, но и, говоря откровенно, нудной.

Несомненно, инициатива постановки целого ряда вопросов, которые затем подробно развивались Бухариным, принадлежала Рыкову и штабу людей, группировавшихся вокруг него. У Рыкова как политика есть одна черта, которую следует особо отметить; она оказала сильное воздействие именно на те обстоятельства советской политики 20-х гг., которые мы сегодня оцениваем положительно. Практическая политика была для Рыкова не столько средством реализации партийных догм, сколько средством решения весьма конкретных проблем, которые вставали в рамках данной системы хозяйственных и социальных отношений. Именно эта недогматичность Рыкова приводила также к тому, что он более, чем другие политики того периода, не терял из вида собственный смысл революции: улучшение реальных условий жизни широких слоев населения. Он говорит об этом много раз, ставя вопрос и так, что если советская власть не сумеет быстро и ошутимо справиться с этой задачей, то широкие слои населения России могут прийти к выводу, что эта власть им не нужна, и они будут правы. Будучи главой правительственной власти, Рыков не

раз был вынужден применять насилие и проводить меры, которые были жестокими. В то же время его характеризует и глубокая, а не просто показная человечность. Рыков питал — и даже не пытался скрывать этого — крайнюю неприязнь к насильственным методам периода "военного коммунизма", а также к их пережиткам. Он никогда не упускал возможности высказаться в пользу расширения поля для свободной инициативы и самостоятельности людей, за ограничение компетенции разного рода аппаратов. В его биографии, насколько нам удалось восстановить, нет таких позорных провалов, как, например, выступление Бухарина на заседании Московского Совета в поддержку чекистов, избивших беззащитных заключенных-социалистов в Таганской тюрьме. Рыков неоднократно отмежевывался от своеобразных форм большевистской "классовости" и стремился к установлению в стране нормальных условий мирного времени. Он, стоявший во главе советского правительства, по-настоящему и искренне, публично гордился тем, что с момента его назначения на пост Председателя Совнаркома конфликты власти с разными группами населения резко пошли на убыль, что число заключенных в советских тюрьмах и концентрационных лагерях упало — правда, как мы теперь знаем, лишь на короткий срок — ниже дореволюционного уровня. Также впоследствии Рыков неоднократно выступал против того, что он считал неоправданным злом и жестокостью, участвуя в ряде попыток сместить Сталина с его поста или будучи даже их инициатором. В 1928 г. Рыков не только протестует против перехода Сталина к политике повального ограбления крестьян, но относится к тому небольшому кругу советских политиков, которые пытались противодействовать состряпанному тогда Сталиным провокационному политическому процессу против инженеров и техников угольной промышленности Донбасса ("Шахтинскому делу"), а также добиться отмены смертных приговоров в этом процессе. Не является безусловно случайностью то обстоятельство, что Рыков был окончательно устранен Сталиным со своего поста именно тогда, когда в конце 1930 г. развернулась серия провокационных процессов: процесс "Промпартии", "Союзного бюро меньшевиков" и т.д.

И тем не менее Рыкова как политика характеризовал

ряд существенных слабостей, предопределивших не только его личную судьбу, но и судьбу всего направления, которое он в рамках советского режима представлял. Ему, пронесшему на себе через все долгие годы большевистской истории клеймо правого, не хватало уверенности и самоуверенности вождя, той жажды власти, жажды быть "первым среди равных", которая дала бы ему силы добиваться полного поражения и устранения Сталина. Именно этот недостаток сказался в том, что на одном из первых мест в шкале политических ценностей Рыкова было "единство партии". Стремление сохранить это единство приводило его, с одной стороны, к попыткам не допустить административной расправы с инакомыслием, "отсечения" от партии тех или иных групп, с другой же, к тому, что он подчеркнуто придерживался позиции партийной легальности, избегая всего того, что могло бы трактоваться как фракционность. Рыков нередко удовлетворялся общеполитическими уступками там, где было необходимо настаивать на организационных выводах и персональных последствиях. Во имя "единства партии" Рыков оставался на своем посту еще полтора года после того, как он окончательно проиграл свое сражение со Сталиным. Он пытался по частям и по крохам спасти то, что Сталин ликвидировал оптом, принимая на себя ответственность за политику, которую он лично не только не разделял, но против которой он всегда решительно восставал.

Рыков не был тем типом политика, который мог бы себе и своим сторонникам обеспечить победу над Сталиным. Он был прежде всего и больше всего лояльным и порядочным человеком. Бухарин же был, особенно в глазах партийной публики, привыкшей к типу вождя-литератора, вождя-теоретика, фигурой более яркой и выразительной, поэтому он больше сохранился в ее памяти. Рыков, тем не менее, в гораздо большей степени и более последовательно, чем Бухарин, был представителем определенного полюса в большевизме, представителем умеренной большевистской политики. Уже по одному этому приписывать авторство умеренных политических концепций середины двадцатых годов только Бухарину вряд ли возможно.

## Концепция НЭПа и реальная политика

Мы останавливались пока на персональных факторах политики, на роли отдельных лиц. Не менее важно принципиальное содержание предлагавшейся ими политики.

Большинством авторов принято сегодня считать, что НЭП был в целом благоприятной альтернативой развития СССР. Поражение Рыкова, Бухарина и других воспринимается поэтому в первую очередь как последствие их неудачи в борьбе за власть или, наоборот, как последствие из неудачи в борьбе против захвата власти Сталиным. Содержание политики остается здесь в стороне. Представляется, однако, весьма неправдоподобным, чтобы Сталин только в интересах борьбы с умеренными покинул успешную политическую концепцию, которую он прежде не только разделял, но в известных пределах и защищал.

Мы характеризовали здесь умеренную политическую концепцию как концепцию НЭПа. В действительности такая терминология не вполне точна. Первоначально НЭП был связан с деятельностью Ленина. НЭП этого периода отличало не только допущение рынка и товарно-денежных отношений, но и их существенные ограничения. Сам Ленин, правда, заявил, что "НЭП — это всерьез и надолго", в партии же в целом преобладало мнение, что НЭП является вынужденной уступкой крестьянству, временным отступлением, за которым последует "возврат к социализму", т.е. к той или иной форме "военного коммунизма".

С 1924 г. СССР вступил в новую полосу развития, связанную с переоценкой многих прежних представлений. Кто-то в свое время назвал ее метко, хотя, возможно, и не совсем точно, полосой Нео-НЭПа. Применение НЭПа было расширено (переход в деревне от натурального к денежному налогу, позднее также допущение аренды земли и найма рабочей силы и т.д.) и направлено на подъем сельского хозяйства. О НЭПе перестали говорить как о временном отступлении. НЭП теперь объявлялся "столбовой дорогой к социализму".

Одновременно с проблематикой подъема деревни, с конца 1924 г. на передний план все больше выступали другие проблемы. Дело в том, что рост хозяйственных и соци-

альных потребностей (недостаток товаров первой необходимости, необеспеченность даже самого элементарного объема жилого строительства, изношенность и аварийность значительной части промышленного оборудования, необеспеченность требований армии и флота и т.д.) все больше расходился с возможностями их реального удовлетворения. Положение усугублялось тем, что страна приближалась к тому моменту, когда обеспечение дальнейшего подъема промышленности путем обратного ввода в эксплуатацию старых, от прошлого унаследованных производственных мощностей становилось уже невозможным.

Сложившаяся обстановка требовала вложения больших средств в хозяйство. Такими средствами СССР не располагал. Теоретически эту ситуацию можно было решить двумя путями: с помощью получения существенной иностранной финансовой и другой поддержки или методом усиленной мобилизации внутренних ресурсов роста. Попытки пойти первым путем не привели (прежде всего вследствие резкого ухудшения отношений с Великобританией, которые имели тогда центральное значение) к желаемым результатам. Второй же путь, т.е. путь мобилизации внутренних ресурсов, не сулил — это было для руководства очевидным — больших успехов. Стремясь к подъему деревни, партийное руководство в 1924 г. устами Бухарина в резкой форме отвергло предложения одного из руководителей оппозиции Е. Преображенского решать проблемы посредством "социалистического первоначального накопления", т.е. путем перекачки средств из частного сектора в сектор государственный. Оно ориентировалось на использование преимуществ советской хозяйственной системы: плановости, устранения неэффективных расходов, ликвидации паразитического потребления имущих слоев и т.д. Все это, однако, пока оставалось теорией. Когда Ф.Дзержинский, в качестве председателя ВСНХ, весной 1925 г. доложил собравшейся тогда партийной конференции реальные планы промышленного роста, то оказалось, что этот рост пока что даже не в состоянии предотвратить прогрессирующей аграризации страны. Из этого следовало, что концепция руководства страдает на практике пробелом в таком пункте, который все больше приобретал решающее

значение. Это неизбежно толкало на путь опасных импровизаций. Последствия проявились уже вскоре.

В 1925 г. статистические органы представили данные, предсказывающие высокий урожай, который должен был достигнуть уровня средних довоенных урожаев. Такие предсказания должны были бы вызвать в верхах сомнения: сельское хозяйство даже отдаленно еще не было восстановлено до довоенного уровня, само руководство только недавно констатировало чрезвычайно тяжелое положение крестьянства, сделав это одним из основных аргументов в пользу своего поворота в сторону деревни. Тем не менее ведущие партийные политики, пытаясь найти быстрый выход из нерешенных проблем, проявили неодолимую склонность принимать желаемое за действительное. Возникло настроение своеобразной эйфории. Данные о размерах предстоящего урожая не только не понижались до уровня реального, а, наоборот, еще больше раздувались. Вместе с тем росли и представления об объеме излишков крестьянского производства, которые будут выброшены на рынок и послужат также основой для резкого повышения промышленного импорта. Под руководством Каменева (Рыков большую часть этого времени находился в отпуске) были на скорую руку приняты решения о новом строительстве, закладывались стройки, свозился строительный материал, вербовалась рабочая сила, размещались заказы на машины и промышленное оборудование за границей, повышался выпуск денег. Такая активность не могла привести к добру. Случилось то, что неизбежно должно было случиться: ожидаемый урожай, хотя он и был достаточно высоким, не был собран, не был достигнут и предполагавшийся уровень заготовок хлеба, а, следовательно, и его экспорта. Новое строительство, как и десятки других вещей, оказались необеспеченными. Их пришлось сворачивать и замораживать. "Большой скачок" обернулся большими убытками.

Начались поиски виновных. Зиновьев и Каменев пытались свалить ответственность за неудачу на кулака, придерживавшего хлеб. Это означало ревизию политики, направленной на подъем деревни. Зиновьев и Каменев подставляли себя тем самым под удар Сталина, который при таких условиях мог рассчитывать на поддержку не только Буха-

рина, но и Рыкова. Вспыхнул открытый политический кризис, ознаменованный выступлением так наз. новой оппозиции Зиновьева и Каменева и длительной полосой ожесточенной внутрипартийной борьбы. Он только обострял проблемы. Эффективных решений найти не удалось, руководству приходилось теперь проповедовать умеренность, осмотрительность и бережливость. Все это лишь увеличивало сумму хозяйственных затруднений, вызывая серьезные опасения за будущее.

Весной 1926 г. Рыков, подгоняемый неблагополучием в советском хозяйстве, предложил более развернутый план накоплений и выхода из хозяйственных затруднений. Он предусматривал сохранение и углубление НЭПа. Реализация этих решений требовала, однако, времени, которое было уже частично утеряно. Стремясь предотвратить опасные последствия недостаточного объема нового строительства, руководство, даже не располагая достаточным объемом финансовых и материальных ресурсов, приняло, начиная с середины 1926 г., несколько следовавших друг за другом решений, резко увеличивающих объем капиталовложений, которые вышли тем самым за пределы возможностей финансовой и хозяйственной системы СССР. Были нарушены необходимые пропорции хозяйственной жизни, необеспеченность рынка возросла, росла и скрытая инфляция. Государство не располагало достаточными средствами, чтобы заштопать непрерывно возникавшие прорехи. Вся концепция НЭПа оказалась под серьезной угрозой.

Для того чтобы обеспечить свои планы и в то же время избежать угрозы экономического срыва, чреватого исключительно опасными последствиями, руководство было вынуждено прибегнуть к новым импровизациям. Оно попыталось ускоренно добиться существенной экономической помощи из-за границы. На рубеже 1926 и 1927 гг. в Политбюро были приняты решения о проведении политики "взаимного понимания" с капиталистическими странами. Они должны были привести к известной нормализации внешнеполитических связей СССР и принести Советскому Союзу иностранные займы и кредиты.

Подобная ориентация советского руководства была уже сама по себе проблематичной. Она исходила из опыта

получения СССР в 1926 г. 300-миллионного германского кредита. Отношения же СССР с большинством развитых стран оставались напряженными, они не создавали предпосылок для быстрого сближения.

Если советское руководство в таких условиях хотело добиться определенного успеха, оно должно было бы решиться на ряд серьезных внешнеполитических уступок. В первую очередь, было необходимо предложить далеко идущие компромиссы по вопросу о выплатах в счет аннулированных дореволюционных долгов России и о возмещении иностранного имущества, конфискованного после революции. Советское руководство должно было также более трезво подходить к поддержке разного рода революционных и антиправительственных движений за границей, что было одной из частых причин срыва международных переговоров. Однако, даже если бы эти уступки были сделаны, они не могли еще принести желаемого результата. Такие уступки документировали бы слабость СССР и критичность его положения, а потому, возможно, возбудили бы новые, еще более существенные требования со стороны развитых стран.

В действительности положение развивалось иначе. Советская политика еще далеко не освободилась — немалую роль в этом играла и деятельность Бухарина в Коминтерне — от своих надежд на революцию и связанных с этим иллюзий. Поэтому в 1926 г. Советский Союз впутался в Англии (поддержка генеральной, а затем шахтерской забастовок) и в Китае (поддержка гоминдановского похода на север страны) в такие события, из которых он не мог выкарабкаться без ущерба для себя. Когда весной 1927 г. в китайские дела непосредственно вмешались великие державы, в Гоминдане произошел резкий поворот вправо, приведший его к разрыву с СССР. Надежды советского руководства прорвать "цепь империализма" в Китае и тем самым улучшить свое международное положение потерпели крах. Через несколько недель последовал также разрыв дипломатических отношений с Великобританией. Получение сколько-нибудь серьезной иностранной помощи становилось маловероятным. Требования по отношению к собственной слабой экономике еще больше возросли. В распоряжении

советского руководства не оказалось достаточных средств, чтобы парализовать разрушительное действие курса на ускоренную индустриализацию.

С 1927 г. Советский Союз начал вползать в полосу жесточайшего экономического кризиса, который имел своим последствием кризис социальный и политический. Этот кризис взорвал НЭП и создал условия для установления сталинского террористического режима. Политика, предложенная Рыковым и Бухариным, потерпела непоправимое поражение. Она проиграла в первую очередь потому, что ее инициаторы не сумели своевременно и эффективно разрешить основную предпосылку успеха этой политики: создать некое равновесие между ростом объема потребностей общества и средствами их удовлетворения.

•

Политика Бухарина была политикой социалистической. Но сегодня мы уже не можем подходить к социализму с теми мерками, которые пытался применять Бухарин. Развитие последних десятилетий особенно наглядно показало, что положительное содержание социализма выражается в организации движения рабочих и социально слабых слоев общества за всестороннее улучшение условий их жизни. Общественный же идеал социализма: общество всеобщего достатка, в котором каждый будет трудиться по способностям, а получать по потребностям, оказался, во всяком случае на весь обозримый этап человеческой истории, — утопией. Попытки реализовать этот идеал, как и применявшиеся большевиками методы "классовой" политики, неизбежно выливались поэтому в ужасы тоталитаризма.

Советская умеренная политика двадцатых годов строилась на весьма противоречивой основе. С одной стороны, в ней проявлялась антитоталитарная струя, связанная со стремлением сохранить и расширить условия НЭПа, ограничить насилие и административное вмешательство в общественную жизнь, добиться улучшения условий жизни широких народных слоев, с другой, стремление непосредственно "строить социализм", сближавшее ее с тоталитаризмом и обезоруживавшее ее в столкновениях с ним. Мы не хотим ни судить, ни осуждать умеренную советскую политику за то, что она не сумела выйти за рамки мышления

своей эпохи, за рамки идейных схем того строя, в котором она развивалась. Развитие СССР в сторону тоталитаризма не определялось лишь одной идеологией, а, как мы видели, недостаточностью средств решения весьма сложных хозяйственных и социальных проблем, возникших вследствие крушения старой России. Тем не менее, приходится признать, что неумение советской умеренной политики выражать вполне конкретные и реальные общественные цели и задачи, т.е. добиться подъема СССР при одновременном гарантировании социальных и политических прав его населения, закрыло перед ней возможность последовательно искать выход из критического положения, который при других обстоятельствах был бы, очевидно, возможен.

Поражение советской умеренной политики нельзя считать случайным. Оно было также следствием утопизма ее общественных целей. Крушение этой политики ставит перед нами вопросы о возможности осуществить демократические принципы в рамках диктатуры, развивающейся в сторону полного тоталитаризма, вопросы о возможности обеспечить здоровое развитие политической и хозяйственной системы на базе союза сторонников этой политики со сталинистами. Все это не исключает, конечно, наличие позитивных моментов в построениях, которые были свойственны Бухарину, Рыкову и всему умеренному направлению советской политики. Но безоговорочно положительная оценка этих построений в целом — вряд ли оправдана.

## **ДРУГИЕ БЕРЕГА**

М. Розанова

### **НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ**

#### **1. ДЫМ ОТЕЧЕСТВА**

Когда мы, третья эмиграция, преодолев все преграды, приезжаем сюда, на Запад, мы сразу попадаем в чужой мир. Здесь все чужое — начиная с языка, с названий улиц и магазинов. И в этом мире нужно начинать жить.

Мы похожи на маленьких детей, которые учатся ходить и чтобы не упасть, хватаются за стены, за стулья, за мамин подол. Такой маминой юбкой становится для нас русский язык и все русское, что встречается нам за границей. И поэтому здешние русские газеты — парижскую "Русскую Мысль" и нью-йоркское "Новое Русское Слово" — мы прочитывали, особенно вначале, с первой до последней строки.

В такой газете удивительно все: и статьи Сахарова, которые печатаются на первых страницах, и постоянная информация о том, кто, где и когда арестован в России, и материалы Самиздата, и даже объявления в конце номера.

На этих объявлениях и маленьких заметках из рубрики "Хроника" хотелось бы остановиться. Они во многом передают быт и колорит русской зарубежной жизни. Судите сами.

Вы слышали ее на радио, Вы видели ее по телевидению, теперь повидайте ее в ее доме. **Госпожа СТАПП — всемирно известная гадалка и советница. 58 Ист 55 улица.**  
Ежедневно от 9 утра и до 9 вечера.

**MRS. ДИКСОН**

Гадалка и советница. Советует и исцеляет; гороскопы - гадание по картам и по руке; Приходите сегодня же повидать эту талантливую женщину. Не нужно уславливаться заранее!

Ежедневно и по воскресеньям с 9 утра до 9 вечера. Полностью угадывает Вашу жизнь! При предъявлении этого объявления - полцены.

Это провинциально, и вместе с тем, это очень трогательно — как разные люди через газету устраивают свою жизнь. Кто как может...

**РУССКАЯ, 38 лет с высшим образованием, привлекательной внешностью, с хорошим характером, желает познакомиться с серьезными намерениями с образованным, порядочным, интеллигентным господином средних лет.**

**ПЕНСИОНЕРКА ищет друга жизни: вдовца, образованного, воспитанного, непьющего от 70 до 75 лет. "Мужа с сердцем и умом". Писать в НРС "вдове".**

Все мы ищем мужа с сердцем и умом. Рыцаря. Героя. Идеального героя. Вождя...

**ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ** господин, вдовец 60 лет, непьющий и некурящий, мягкого и приветливого нрава желает познакомиться с одинокой дамой до 50 лет. Цель — брак.

Когда-то Владимир Маяковский писал: "Я стремился за семь тысяч верст вперед, а приехал на семь лет назад..." Наше положение несколько сложнее: столкнувшись с русским зарубежным миром, мы переехали не на семь, а на семьдесят лет назад. Мы попали в мир детства наших бабушек, в плюшевый альбом, городок в табакерке, журнал "Нива"...

## **КАЛЕФЛЮИД**

**БОЛЬНЫМ  
СЛАБЫМ**

**НЕРВНЫМ,**

Мы живем в обстановке крайнего нервного напряжения: невращения, малокровие, головные и др. боли, упадок сил, апатия, бессонница, нервные запоры - вот чем страдает едва ли не каждый из нас.

Научно установлено, что известное средство КАЛЕФЛЮИД · восстанавливает равновесие и организм, будучи возрожденным, снова начинает пользоваться всеми радостями жизни.

**ПИШИТЕ НАМ НЕМЕДЛЕННО**

Перед нами встают призраки, тени забытых предков, — уездных барышень и уланов, гимназистов и кавалергардов, призраки русской истории, давней истории...

**По случаю полкового праздника**

**9 ДРАГУНСКОГО КАЗАНСКОГО**

**ИЗ КИРАСИРСКИХ**

**Ее Императорского Высочества**

**Великой Княжны**

**МАРИИ НИКОЛАЕВНЫ ПОМА**

**в воскресенье 2 ноября**

**В ЦЕРКВИ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО,**

**322 Вест 108 улица, Нью Йорк,**

**БУДЕТ ОТСЛУЖЕН**

**МОЛЕБЕН**

Как звучат эти эпитеты! "Драгунский"! "Из кирасирских"! "Ее Высочества"! "Сиятельства"! А ведь и слова эти мы уже не знаем, почти забыли, а кто-то помнит...



## МОРСКОЕ СОБРАНИЕ

Совет старшин доводит до сведения моряков и наследственных членов собрания, что морской обед по случаю праздника Морского Корпуса состоится в этом году в воскресенье, 28 ноября, в помещении Морского Собрания.

Предварительно — Морская панихида в соборе св. Александра Невского в 12 часов.

В 5 часов пополудни — традиционный крющон для морских дам.

А что такое "крющон для морских дам"? Вы знаете? Я — нет... Каждое отдельное слово понимаю — и "крющон", и "дама", а вместе ничего не складывается из этих осколков. И вот я, русская, москвичка, за границей уже несколько лет, безуспешно пытаюсь объяснить "морской даме", почему мы любим песни Галича и Кима, а "морская дама" совершенно серьезно доказывает мне, что Шляпин пел лучше, чем Высоцкий, потому что не хрипел и не кричал.

И как объяснить "драгунскому из кирасирских", в чем смысл романа-анекдота Войновича о солдате Чонкине?



## ПЕЛЬМЕНИ У ДОНСКИХ ИНСТИТУТОВ

Объединение донских институтов завоевало симпатии русской общественности с первых дней своего существования. Живя все годы в районе Нью Йорка, являясь постоянным посетителем русских балов, «чашек чая» и т. п., я вспоминаю прекрасные балы, устраиваемые прежде этим объединением. На одном да них выступал Николай Гедда. По бытовым причинам почти все русские организации отказались от устройства балов и, в сущности, теперь мы имеем один грандиозный бал — Кадетский и (в меньшем ласштабе) новогодний бал Русско-сербской гимназии в Белграде. Зато ежегодно устраиваемые Донскими институтками «пельмени» (днем) собирают такое количество публики, что хочется посоветовать организаторам подумать о более вместительном помещении.



v КОРНИЛОВЦЕВ

Пасхальные Поздравления состоятся 9 мая с. г. в Доме Белого Воина — 16, рю Мериме, в 16 часов. Добро пожаловать.

Правление



### ИМПЕРАТОРСКАЯ КОННИЦА И НИКОЛАЕВСКОЕ КАВАЛЕРИЙСКОЕ УЧИЛИЩЕ

Очередной привал 7 мая отменяется и переносится на 22 мая в 12 часов в помещении Русского Воина — улица Мериме, Париж 16, для совместного празднования с Николаевским Кавалерийским Училищем их училищ. Праздника.

## ДОНСКАЯ ПИРАМИДА

Правление Донской Пирамиды поздравляет с праздником Рождества Христова и с наступающим Новым Годом: первопастыря нашего Архиепископа Георгия; начальника белого русского воинства; боевых соратников, добровольцев цветных; зарубежного нашего Донского Атамана; окружан родных, калединцев, в рассеянии пребывающих, но стойко несущих тяжкий крест изгнания.



\*\*\*\*\*

в руках. Направив их на свои жертвы, негры попытались вырвать сумку у Софроновой, которую они сбили с ног.

Жертвы нападения стали громко кричать и звать на помощь. Крики жертв испугали грабителей и они поспешили скрыться, не пустив в ход оружие.

У Софроновой сильно повреждена рука, на которую был намотан ремешок сумки. Вырвать ее грабителям так и не удалось.

Что значит — русская женщина: четыре негра, два пистолета! — но сумочку? — сумочку я врагу не отдам!..

Смешно? — Да. Наивно? — Конечно. Но как бы ни были смешны иногда строки этих хроник, есть в них одно, что пленяет и подкупает, и превращивает сердце. Это — верность. Верность своему корню и своему племени. Верность своей улице. Одна пожилая эмигрантская пара, объехавшая за пятьдесят лет весь свет и жившая всюду: и в Новой Зеландии, и в Англии, и в Америке, на вопрос Галича — откуда вы? — не задумываясь ответила — с Арбата. Поэтому, куда бы ни занесла русского человека судьба, и кем бы он ни стал: писателем, инженером, официантом, шофером такси, профессором, его часы, часы его жизни, остановились в ту минуту, когда он уехал из России, и до конца дней, сколько бы он ни прожил, он остается корнетом, поручиком, лицеистом.

**30 октября в госпитале гор. Хьюстон, Техас**  
скончался б. ученик Император. Алекс. Киевской гимназии  
и студент Пражского университета  
**ИНЖЕН. ЭЛЕКТР.**  
**ВИКТОР ГАВРИЛОВИЧ СОРОКИН**

Инженер-электрик в Америке одна из очень высоких квалификаций. И, может быть, достичь этой должности Виктору Гавриловичу Сорокину было не так просто. Но, умирая, он вернулся к своему первоначальному званию, самому для него главному: ученика Киевской Алексеевской Гимназии. Он вернулся в ту жизнь, из которой его выбросили.

**ГЕОРГИЕВСКИЕ КАВАЛЕРЫ  
С НОВЫМ ГОДОМ!**

Председатель и Правление Союза Георгиевских Кавалеров во Франции поздравляют членов Союза и всех Георгиевских Кавалеров, рассеянных по всему миру, с Новым Годом и Великим Праздником Рождества Христова, желают здоровья и бодрости духа.

Так живут и умирают русские люди.



25 декабря 1976 года Евгений Афиногенович, лежа на больничной койке, слушал аудиопластинку с записями Славянского хора. Зашелные в палату друзья застали долгоиграющую пластинку еще звучащей, тогда как сам Евгений Афиногенович уже отшел в иной мир...

**ПОХОРОННОЕ  
БЮРО  
ПЕТР ЯРЕМА**

**129 EAST 7th ST., N.Y.C.**

**Tel. OR 4-2568**

**ЧЛЕН 1 и 35 ОТД. РООВА**

**Часовни с охлад. системой  
Лучшие похороны за самую  
дешевую цену во всех 5 «Боро»  
Большого Нью Йорка**



## 2. ПОРТШЭЗ И РАСКЛАДУШКА

— Здравствуй, кума!

— На рынке была...

— Аль ты глуха?

— Купила петуха...

Русская прибаутка

... Распалась связь времен!..

"Гамлет"

Когда-то Маяковский писал о высокой поэтической лексике и устаревшей литературной традиции, что в этом словаре "соловей" — можно, а "форсунка" — нельзя, "конь" — можно, а "лошадь" — нельзя. То есть можно употреблять в поэзии лишь апробированную многократным употреблением, авторитетную, возвышенно-красивую лексику.

Мы здесь, в эмиграции, столкнулись с более интересным и широким явлением, которое касается не только поэтического, литературного, но общенародного, разговорного русского языка. Какие слова употреблять можно, а какие нельзя...

Какие слова, посмотрим, выносятся в русской эмигрантской прессе во главу угла? *Б* загадки, в шарады, в кроссворды, то бишь, по здешнему, по-старославянски, так сказать, — в "крестословицы"?.. — "Визит", "Портшэз", "Портмоне"...

И здесь же, рядом с этими крестословицами, в русской эмигрантской газете читаем письмо-протест — против ужасного, вульгарного, нарушающего все законы русского языка, нового слова "раскладушка", занесенного на Запад советскими диссидентами. Необходимо говорить, поясняют нам, — не "раскладушка", а "раскладная кровать"...

Итак, по старому: "портшэз" — можно, "раскладушка" — нельзя. И в литературе, и вообще в языке.

---

\* Доклад, прочитанный на симпозиуме "Одна или две русских литературы" (Женева, 1978).

И мы, бывшие советские люди, всю жизнь спавшие на этих самых "раскладушках" и не видавшие в глаза никакого "портшэза", вступаем в спор, в диалог. Звучит он примерно так : мы говорим "раскладушка", а слышим в ответ, как эхо, — "портшэз",

— Раскладушка !

— Портшэз !

— Раскладушка !

— Портшэз !

— Раскладу...

Но все тише, все неувереннее звучит наша протестующая "раскладушка", и медленно, торжественно как трон на колесиках, въезжает "портшээз" и становится на место действительности, как норма языка. Как мечта о милой, доброй, дворянской России, которой давным-давно уже нет. России — нет, а портшэз остался и царствует.

Вот в чем проблема, и вот в чем разрыв.

Законны и понятны эти охранительные задачи старшей эмиграции, этот принципиальный консерватизм в языке, противостоящий одновременно и русской революции, и западному окружению, в которое попали носители русской культуры, ее цвет и надежда. Пока там, в России, истребляли и глумились, здесь надо было — сохранить.

Ну и — сохранили. Носители вымерли естественной смертью, а язык остался. Все чужеродное, то есть отклонявшееся от нормы, выбрасывалось, вызывало подозрение — будь то хоть Марина Цветаева, Алексей Ремизов, Набоков...

И вот теперь мы, россияне другого поколения, попали в этот град-Китеж. На каком языке прикажете нам разговаривать — на древнерусском?

Для ученого эмиграция — это безусловно прекрасный эксперимент, поставленный самой историей, разделившей язык на два языка, одну культуру - на две параллельные. А людям и писателям, единой литературе, это — трудно.

Может быть, одна из проблем этого разногласия, этого нашего разноязычия, упирается в то, какие литературные силы эмигрировали после революции и какие (в прямом и переносном смысле) теперь. Тогда, конечно, выехал цвет русской интеллигенции. Но большинство в этом букете со-

ставляли писатели-реалисты : Бунин, Шмелев, Куприн, Зайцев и даже Максим Горький. Возможно, это произошло потому, что реалисты вообще составляли большинство в российской словесности. А возможно, и оттого, что реалисты, ищущие правды, реальнее представляли и видели тогда, что происходит, и, как истинные демократы, возненавидели советскую власть и подробно описали, как это бывает на самом деле, когда происходит революция.

Этой гвардии прозаиков-реалистов соответствовала и на собственно-поэтическом языке вторила вывезенная за границу традиция акмеизма, или, как ее называют иногда, "петербургская школа". Она-то (уже с парижской нотой, внесенной в поэзию эмиграции) и задавала тон. О "петербургской школе", как наследнице русской поэтической культуры, прекрасную работу написал В. В. Вейдле, сам по вкусам убежденный петербуржец.

Речь, таким образом, идет о довольно устойчивом стиле акмеистической выкройки, который занял привилегированное, господствующее положение в эмигрантской поэзии. Как всякий стиль, сам по себе, он достоин восхищения. Но меня в данном случае интересует лишь одна его сторона — его функция законодателя вкусов и хранителя традиций в поэтическом языке. Именно акмеизм (да еще с упором на Санкт-Петербург, вывезенный за границу) отвечал задачам стабильности, консервации языка и внушал его приверженцам сознание элитарности, столичного превосходства и преемственной связи с лучшим, что было в русской культуре старой, дореволюционной эпохи.

Но здесь же, на этой базе, поэзию подстерегала опасность — омертвения и вырождения языка. И сам акмеизм, как школа, как система, таил в себе эту опасность. Своей идеей равновесия в стихе всех словесных средств, своим отказом от широких, концептуальных задач, поставленных еще символизмом, самодостаточной замкнутостью поэтической картинки, являющей собою образ микрокосма, — акмеизм способствовал созданию кораллового островка в океане современности или "петербургского стиля", живущего уже вне России и как бы вне времени, вопреки всем революциям. Ведь даже в пору своего расцвета акмеизм (как и любое отдельное стихотворение, выполненное по

его законам и нормам) представлял собою некое подобие острова или замкнутое в себе эстетическое предприятие. А если на этот остров вы перенесете еще Петербург, пусть даже с остатками лучшего, что в нем когда-то было, то вот вам и обеспечена болезнь изоляционизма и минимализма, какую страдает язык эпигонов этой школы.

Акмеистическая "прекрасная ясность" оборачивается элементарной понятностью и доступностью стихов для рядового читателя; гордый эстетизм акмеистов обращается в привычку "говорить красиво"; идея художественного равновесия подменяется обыкновенной нейтрализацией поэтической речи, предпочитающей, как норму, некий безликий "средний стиль", то есть, попросту говоря, отсутствие стиля. Хранение традиций уступает место инертности языка и сознания.

Пародии на акмеизм можно найти ныне в любой эмигрантской газете. Хотя авторы, быть может, и не слышали ни о каком акмеизме, а просто пишут, как принято писать — стихами.

Вот, например, стихи 1978-го года — о рыбных закусках, навевающих приятные российские воспоминания.

Семга, рыб копченых царь,  
Розовеет, как янтарь  
Претончайшими ломтями,  
Будто розы лепестками...  
В хрустале икра лежит,  
Черным жемчугом рябит...  
Да лукавая селедка  
(Без нее скучает водка),  
Распластавшись в два ряда —  
К рюмке лучшая еда,  
Хоть и смотрит невеличкой  
Под лучком да под горчичкой...  
Да сухой донской балык,  
Услаждающий язык...

Разумеется, стихи могут быть и более гладкими по своему формальному качеству, и более возвышенными по духу и умонастроению. Но это не меняет существа проблемы, не меняет мнимого или подлинного Петербурга, кото-

рый лежит в основании этой языковой инерции. Ведь не случайно же лучшие и тончайшие выразители "петербургской школы" проявляли в эмиграции порой удивительную глухоту к тому живому и новому в литературе, что доносилось иногда из России. Точнее говоря, глухоту даже и не обязательно к новому, а к звукам диссонирующим, нарушающим застывшую красоту Петербурга, будь то хотя бы поэма Блока "Двенадцать" или "Сестра моя — жизнь" Пастернака, то есть вещи достаточно ранние по времени, иногда даже более ранние, чем началась сама эта эмиграция.

И это не политический, а собственно языковой, стилистический барьер, почему, допустим, Георгий Адамович, преклоняясь перед Блоком и ставя его рядом с Пушкиным, считал "Двенадцать" поэтическим срывом, а Пастернака упрекал в излишней метафоричности. Или Вейдле, любя и понимая, как мало кто, Мандельштама, его поздние "диссонансные" стихи рассматривает все же как некий надлом самого вещества поэзии, вызванный страшными бедствиями и гонениями, которым подвергся поэт. А ведь, казалось бы, Мандельштам был самым блистательным "петербуржцем", пока не дошло дело до диссонансов и стилистических снижений, режущих ухо сторонникам более спокойного и нейтрального, подмороженного, словесного равновесия.

Георгий Адамович в "Комментариях" перефразирует знаменитый афоризм Леонтьева: "Надо поэзию подморозить, чтобы она не сгнила". В этом "подмораживании" он и усматривает особое призвание поэтической эмиграции, противостоящей новациям эпохи в виде Маяковского, Пастернака, Цветаевой. "Петербургская школа", выехавшая в Париж, и являет собою образ "подмороженной" поэзии.

И это не вина и не ошибка отдельных лиц, отдельных писателей и критиков, а трагедия эмиграции в целом, которую сама она далеко не всегда в состоянии осознать.

В этой связи я позволю себе сослаться на "Воспоминания" Нины Берберовой, касающиеся, в частности, проблемы стиля в 20-е и 30-е годы, т. е. в эпоху относительного процветания русской литературы за рубежом:

"Нашим несчастьем, трагедией нашей, "младших" в эмиграции, было именно отсутствие стиля, невозможность обновить его. Стиля не могло быть ни у меня, ни у моих

сверстников. Один Набоков своим гением принес с собой обновление стиля...

"Старшие" откровенно признавались, что никакого обновления стиля им не нужно, были старые, готовые формы, которыми они так или иначе продолжали пользоваться, стараясь не замечать их изношенности. Те из младших, которые были талантливы, только могли модулировать эти формы... "Безвоздушное пространство" (отсутствие страны, языка, традиций и - бунта против них, как организованного, так и индивидуального) было вокруг нас не потому, что не о чем было писать, а потому, что при наличии тем — общеевропейских, российских, личных, исторических и всяких других — не мог быть создан *стиль*, который соответствовал бы этим темам.

Было также усиленное давление со стороны тех, кто ждал от нас продолжения бунинско-шмелевско-купринской традиции реализма... Попытки выйти из него никем не понимались, не ценились.

Проза Цветаевой — едва ли не лучшее, что было в эти годы, — не была понята. Поплавский был прочтен после его смерти, Ремизова никто не любил. Я сама слышала, как Милюков говорил: "Окончил гимназию, окончил университет, а Цветаеву не понимаю..."

Эстетических идей не было почти ни у кого, словно из века символизма мы шагнули назад, когда считалось, что для писания стихов нужны известные правила, а проза пишется самотеком...

Публика хотела театра реалистического, она мечтала видеть на сцене, как пили чай из самовара...

В моих стихах, как и в прозе, была в то время та "полуформа", которую можно найти в стихах почти всех моих сверстников..."

Картина, нарисованная Берберовой, быть может, покажется слишком мрачной. Но нам важны здесь не оценки и не степень приближения к истинному положению дел в то или иное десятилетие, а тенденция или симптомы, с последствиями которых мы сами сейчас сталкиваемся. Спустимся теперь с сияющих высот поэзии и прозы, формы и "полуформы" (как удачно определила Берберова эту стилевую доминанту). Сойдем в низины нынешнего языка и вновь

раскроем эмигрантскую газету, газетные крестословицы. Они полезны в том отношении, что позволяют увидеть воочию уровень языкового сознания (и не только языкового), уровень, рассчитанный, разумеется, на относительно массовый спрос и средний читательский вкус. Можно говорить даже об особом рода "эстетике" этих сказочных шарад с их достаточно устойчивым, любимым ("поэтическим") лексиконом, с их грамматикой и географией.

Порою это звучит очень трогательно, порою же наводит ужас призрачностью, вымороченностью жизни, которая стоит за ними, за этим эмигрантским набором традиционных слов и понятий. И это *всё* — хочется спросить, — *всё*, что мы вывезли из России и что накопили в диаспоре?!.. Пройдемся по горизонтали, пройдемся по вертикали. Следуют вопросы с намеками на какое-то слово. По горизонтали, например, следует :

1. *Он приятен в жареном виде и обязательно с гречневой кашей...* — догадываемся радостно : "поросенок" !
2. *Мужское имя (упоминается где-то у Пушкина).*
3. *Древне-славянское название дикого буйвола (город во Франции)* — подозреваю, что это "Тур".
4. *Испанское вино (город в Испании)* — хором: "Малага"!
5. *Река в России, впадающая в Каспийское море* — вот это уже трудно догадаться...
6. *Насекомое из басен Крылова.*
7. *Треть хрюшки.*
8. *Инициалы имени и фамилии знаменитого русского полководца, увековеченного на одной из мраморных досок в Георгиевском зале Московского Кремля.*
9. *Старинная русская мера веса.*
10. *Грызуны, водятся в Южной Америке (похожи на зайцев, мясо съедобно).*
11. *Сестра Наполеона.*
12. *Известная станция ж. д. на пути из Новосибирска в Иркутск, 1600 км от Новосибирска (там поезд стоит 10 минут, так что можно прогуляться в буфет и выпить рюмку-другую для поднятия настроения).* — Встречный вопрос: — В каком году автор там прогуливался?

Или появляется — тоже по горизонтали — изысканная

и сложная топонимика: сплошь одни названия рыбных кушаний, с параллельной рекомендацией, какую рыбу под каким соусом лучше готовить.

И видится что-то загробное, глубокоководное в этом перечне рыбных пород, вдруг всплывающих в кроссворды как память о прекрасном.

Но спасемся — и вынырнем из глубины на поверхность — по вертикали. Читаем, с трудом разбирая слова и знаки пунктуации: *"место для хранения сена"* (наверное, имеется в виду — "сеновал") ; *"кушала"* (глагол женского рода, ищущий синоним "ела") ; и — *"правый приток Волги"* ("Ока").

Что это такое? Да ничего особенного. Ничего страшного. Способ самообороны, самосохранения языка, которому пришлось худо и который напоминает читателю, что в Волгу впадает Ока, а Волга, в свою очередь, впадает в Каспийское море. Что сено, как полагалось в старые времена, хранится на сеновале. А слово-глагол "кушала" означает всего-навсего "ела"... Вот эта мысль, эта нить и пронизывает поэтику русских эмигрантских крестословиц: не забыть и донести до потомства традицию в виде смысла самых простых слов. Возврат к азбуке, к истории, к своему корню.

А тут еще новопроезжие лезут со своими "раскладушками", усложняя и искажая язык своими претензиями на какое-то слово в искусстве. Какое может быть новое слово, когда уже один лексикон, сам словарь эмиграции — поэтичен и может читаться и писаться как истинные стихи?

Возьмем не каверзные вопросы кроссвордов, но откровенные ответы, которые печатаются, спустя некоторое время, в газете, если читатели, допустим, не разгадали шараду или разгадали неправильно. Эти слова-ответы хочется располагать столбиком, в форме стихов, деленных на строфы и снабженных если не ритмом, то метром. Это — поэзия и поэтика. Вот послушайте, почувствуйте замкнутый круг и тайный жар и пафос русского эмигранта. Читаю разгадки загадок, ответы на крестословицы :

Поросенок  
Онега

Белена  
Эпос

Выдра  
Щука

Около	Вотще	Вехи
Слеги	Арль	Сена
Питирым	Ваал	Спас
Мономах	Туалет	Перейти
	Енох	Енот
		Иона
Елико	Астролябия	Лунатичка
Олег	Иней	Карандаш
Татьяна	Хворост	Плацдарм
Савва	Лоб	Керубини
Астероид	Таити	Бизон
Ага!	Чу!	Аким
Ересь		Корнилов
Ариман		Цветок

Спрашивается: как совместить этот слаженный инвентарь языка со всякого рода терниями, успевшими тем временем вырасти на развалинах России? Произошел разрыв традиции (что уж греха таить). Пробел. Пропуск. По мнению *здешних* охранителей, он заполнен диким, невообразимым советским жаргоном, который и вторгся сейчас на Запад под видом "нового слова". По *нашему* мнению, в том же пробеле, помимо всего прочего, повинен язык русского зарубежья, утративший чувство реального. Недаром в эмигрантской печати, чуть что, закипают и разрастаются споры вокруг любого новшества в установленном лексиконе, будь то "Солдат Чонкин" Войновича или "Аполлон 77" — Шемякина.

Названием, быть может, не совсем удачным, чересчур обязывающим, "Аполлон 77" вызвал невыгодное для себя сравнение с богом Аполлоном, во-первых, и с "Аполлоном 909 — 917" С.Маковского, во вторых. И чувство прекрасного и изящного было потрясено этим новым, незаконным детищем.

Помилуйте, говорят, С.Маковский был человеком редкой вежливости и обходительности. А тут что? Эпатаж, галиматья, ободранная кожа, непристойности?..

Но в действительности шемякинский "Аполлон —77" надо сравнивать не столько с Маковским и его старым

"Аполлоном — 909" (который был, между нами говоря, цитаделью акмеизма, петербургской школы, вызвавшим, кстати сказать, своей несколько холодной и лощеной красотой "ком грязи", пущенный тогда рукой Велимира Хлебникова), сравнивать шемякинский "Аполлон" надо с другим — диким и первобытным Аполлоном русского кубофутуризма. Это о нем — об идолах Африки, — воздвигнутых из безвестности гением Пикассо и его русскими собратьями, было сказано в манифесте 1911 года: "Аполлон умер. Да здравствует Аполлон криво-чернявый!"

То есть существуют еще и другие традиции, помимо "петербургского стиля", которые, бывает, по временам пробуждаются и заявляют о себе и о своем праве на жизнь, как, например, этот шемякинский "криво-чернявый" Аполлон или, лучше сказать, Марсий с ободранной Аполлоном кожей. На эти проявления так называемого левого искусства — консерваторы (и в Советском Союзе, и за границей) возражают одной присказкой, что все это, дескать, уже не ново и было в начале века или имеется в достатке на Западе. Цитируют старую эпиграмму:

Новаторы до Вержболова:

Что ново здесь — то там не ново...

Но ведь и акмеизм, и реализм давно уже не новость. Почему же по-старому можно и должно писать, а по-новому, или относительно новому — нельзя?

Что же касается "левого крыла" в русском современном искусстве, то ново оно уже тем, что пытается перекинуть мостик через пропасть или обрыв традиции, произведенный насильственно в 20-е годы, и этим, возможно, окажет помощь в обновлении и других стилей, включая наш прекрасный, легендарный Санкт-Петербург.

Новизна, однако, приходящая из метрополии, из России, пока что в кругах старой эмиграции измеряется чаще всего количеством нечистот, которые встречаются в этих литературных созданиях.

И это количество ужасает и связывается с дурным воспитанием, с советским образом жизни, забывшим про всякий стыд, заставляя еще строже и бдительнее за границей оберегать чистоту русской речи, сохранив ее для той блаженной поры, когда блюстители чистоты вернут ее в целости

и сохранности оккупированному большевиками и замороженному народу.

А этот самый народ, русский народ, советский народ, между тем продолжает разговаривать, смеяться и даже писать на своем странном, искаженном, нечистом языке. Естественно в этих условиях лексического разрыва прибегнуть к своего рода измерителю нечистот. И прибегают, извините за выражение, к "говномеру", о котором, смеясь, пел Галич, и который ныне периодически опускается в эмигрантской печати, для проверки, на литературные произведения, приходящие "оттуда", "извне", из "зараженной" зоны.

Причем, измерению подвергаются как раз наиболее свежие и интересные в языковом отношении вещи. Такие, как "Москва-Петушки" Ерофеева, "Зияющие высоты" Зиновьева или песни того же Галича...

Однако, приведенный в действие лексический "барометр", или "говномер", показывает не только уровень и количество всякого рода "нечистот" в этой диссидентской словесности, но и уровень литературной критики, которая пользуется этим нехитрым агрегатом для установления "нормы" русского языка.

С другой стороны, появляются и, так сказать, положительные образцы в эмигрантской печати, показывающие, как надобно писать и говорить. И даже (рискованный шаг!) — как подобает по правилам хорошего тона описывать самые рискованные жизненные положения.

Хочется в этой связи обратить внимание на одну новеллу, как некий пример стилистики — на вечную, на тургеневскую тему "первой любви". Я не буду называть имя автора, поскольку это не имеет принципиального значения, но представляет собою, по сути, отвлеченный и чистый принцип демонстрации эмигрантского нормативного языка.

В порядке экспериментального материала автор берет эротику, как наиболее скользкую и опасную тему, и преподносит ее таким благородным образом, что все "нечистые" авторы, писавшие на эту тему, должны были бы устыдиться перед этими нежными, старческими прикосновениями — и к теме, и к телу женщины, и к языку, целомудренному, как эти девушки, как эти первые чувства.

Но странно : мы краснеем, мы, привыкшие, казалось

бы, к куда более прямым и вульгарным словам. Нас почему-то коробит и шокирует это галантное обхождение и с темой, и с девушками.

Итак — любовная сцена :

*"Мороза точно и вовсе не было. Дарье Федоровне стало жарко, она растегнула шубку, сняла варежки, шапочку и стала поправлять шпильки в волосах. "Какие чудные у вас руки ", — сказал я тихо и поцеловал сперва одну, потом другую у запястья, а потом обе, сблизив их у корня ладоней... Чуть приоткрытые ее губы были совсем близко от моих, но я все целовал ее руки, гладившие меня так нежно, так нежно. Она опустила еще ниже, сползла с сиденья на сено, как и я, шубка ее распахнулась, муслин не покрывал уже нежную ее шею, и я, не переставая целовать ее руки, ощутил нечто совсем новое, никогда не испытанное дотоле : понял всем существом, что она вся расцвела, разнежилась, раскрылась, что в тот миг, безо всякого предела, она всю себя мне отдает. Еще приблизились ее губы; сейчас я их поцелую, сейчас поцелую..."*

— Хорошая затяжка в сюжете ! — скажем мы прямо и формально. — Но скоро ли они, наконец, дойдут до дела? !.. Сколько можно тянуть резину?..

Не потому, что это "дело" нас так уж интересует. Но потому, что вокруг этого не названного, но главного для автора предмета и вращается повествование, создавая атмосферу поэтического "эротизма", не совсем пристойную на наш взгляд — не в нравственном, а в литературном смысле этого слова. То есть системой эвфемизмов вокруг генеральной темы создается некое поле — не словесное, а телесное, хотя от тела исходят одни лишь возвышенные испарения. И поэтому, в ответ на разнеживающие прикосновения к теме, мы спрашиваем цинично : ну, а долго еще они будут дурака валять? Или, говоря возвышенным языком, по-старинному: скоро ли он ею овладеет? Но — ничего подобного. Цитирую дальше :

*"— Милая, милая, - только и сумел я сказать, — нагнулся и поцеловал край ее шубки".*

"Шубка" — слово поэтичное и, одновременно, такое простое и доброе, из домашнего обихода, — "шубка". Приятно вспомнить. Поэтому рядом с "шубкой" появляется

очень точный "акмеистический" орнамент, — кстати сказать, прекрасно написанный, и даже не написанный, а выписанный, как приятное воспоминание о прошлой, немного барственной, но все же интеллигентной в высшей степени, изысканной культуре :

*"Дарья Федоровна достала из внутреннего кармана шубки плоский портсигарчик матового золота и плоские спички в замшевом футляре, вынула папиросу Лаферма с пробковым ободком и закурила".*

Эх, жили же люди и никому не мешали, никого не трогали. Как сказано у другого автора этого же поколения, жили *"в настоящей, родной стране, бесследно затоптанной взбесившимися чудовищами ужаснейшей из революций"*.

Стилистика. Прелесть вещей : "плоский портсигарчик матового золота", "с пробковым ободком", "в замшевом футляре". Не то что какой-нибудь вульгарный "Беломор" или махорка. Лаферм. Эстетика. Шубка. Тут бы и остановиться. Заснуть...

Нет, автор идет дальше. Под "шубкой", оказывается, есть что-то еще — выпуклое. Отношения героев достигают кульминации. Эротика — стилистических пределов. И вот оно, наконец-то, — свершилось :

*"Тут уж я не за талию Дашеньку придерживал, а вспомнив, должно быть, прекрасногрудую Диану, обнял ее по-выше, и мы, скатившись с горы, попали в сугроб, где и остались лежать, согнувшись, как были, неподвижно. Я не сжимал и не прижимал ее грудь, а только осязал ее ладонями, видел руками..."*

Вот и все. Подумаешь: "осязал руками" или даже "видел". Чего не бывает в жизни ! Нас отпугивает не дерзость этого юного поступка и не его робость, сами по себе достойные подражания. Нас отталкивает стиль, язык, построенный на околичностях вокруг этих самых "полуформ", осязаемых руками. Язык обращается в своего рода эстетический "бюстгальтер", который старательно оберегает собственное, языка, целомудрие. Многозначительное, с придыханием, приближение к пустому, в общем-то, хотя и выпуклому месту...

Впрочем, точно такой же шокинг и отвращение еще горшее вызывают в их восприятии и понимании наши гру-

бые манеры, наш разбитной жаргон Войновича, Ерофеева или Зиновьева.

Мы много думаем и говорим о взаимодействии двух литератур и даже двух языков, развивающихся на советской и на зарубежной почве. Нас волнует проблема связей, мостов между этими оторванными друг от друга ветвями или процессами русской культуры.

А между тем, эти "мосты" появляются иногда сами собой. Только, увы, далеко не всегда такие, о которых мы мечтали. И вдруг обнаруживается неожиданное сродство душ в консервативных, пуристских тенденциях здесь, в зарубежье, и там, в официальной идеологии, от которой мы бежали.

Приведу пример: театральная группа РСХД в Париже поставила пьесу Тургенева "Нахлебник". И вот реакция — рецензент сообщает, что публика была недовольна слишком темным и нетипичным изображением русской жизни.

*«В результате, при "разъезде" слышались восклицания: "ухожу из театра с подавленным чувством!", "какая тяжелая пьеса", "не стоило бы эмигрантской молодежи в такой неприглядной форме показывать жизнь их дедов и отцов"».*

Что это? — опять поиски положительного героя? Нам опять нужен оптимистический звон и светлый конец? И воспитание молодежи на положительном примере и поучительном образце?

Противоположности, говорят, где-то порою сходятся. Но здесь мы уже наблюдаем не просто сходство антиподов (красных и белых), но некие производные стилиа, производные нормативного языка, которые на разных почвах дают близкие всходы. И тогда на открытии в Монжероне выставки художников-нонконформистов вдруг слышишь такую фразу: "Неужели это наша Россия? Это ужасно!"

Но почему это нас волнует? Что это — только спор о вкусах? Мало ли, какие бывают вкусы, и чем разнообразнее, тем лучше. Но острота проблемы в том, что это разноязычие оборачивается порой редакторскими ножницами. Как в свое время делали купюры в текстах Марины Цветаевой, так сейчас, например, в "Нозом Журнале" причесали

рассказы Шаламова, приведя их в большее соответствие с нормами эмигрантской эстетики.

Но проблема еще болезненнее и острее. Я боюсь, что на следующем нашем симпозиуме, который произойдет, допустим, через 60 лет, я сама окажусь в своих вкусах и навыках не менее консервативной, по сравнению с дальнейшим развитием русского языка и русской диссидентской словесности.

Так что сегодня мои горькие слова на тему двух языков — обращены не только к прошлому, но к будущему — к нам самим...



Зиновий Зиник

## ПОДСТРОЧНИК

### 1. КАКОЙ-ТО ПОШЛЫЙ МАДРИГАЛ

И мало горя мне, свободно ли печать  
Морочит олухов, иль чуткая цензура  
В журнальных замыслах стесняет балагура.  
Все это, видите ль, слова, слова, слова.

А. Пушкин (Из Пиндемонте)

#### 1

Стихотворение, цитируемое в эпиграфе, вовсе не перевод из какого-то там Пиндемонте. Это сам Пушкин написал. Но сделал вид, что это перевод. Чтобы обмануть цензуру. Сделал вид, что виноват подстрочник. Но все равно испугался и опубликовал лишь после того, как его убили. Пушкина, а не Пиндемонте. Называлось это "дуэлью", но в подстрочнике стоит слово "убийство". Речь пойдет о культуре художественного перевода: в том смысле, что — как культура превращается в чтение под-над-и-между строк. Речь пойдет о подстрочной культуре.

#### 2

Для ясности в понимании всеобщего замораживания головы надо представить себе два спектакля. Первый спектакль как будто бы настоящий. Зрители сидят в театральных креслах. Перед ними возвышается сцена. На сцене актеры. Занавес подымается. Зрители хлопают. Потом

\* "Какой-то пошлый мадригал" является вольным переводом доклада "Культура между строк", прочитанного мной по-английски в университете Оксфорда 31 мая 1978 г.

устанавливается тишина. Воздух, однако, колеблется. Его колеблют актеры своими голосами, жестами и странными паузами. Зал отвечает таинственными улыбками, подмигиванием с легким поворотом головы к соседу, безмолвным толканьем соседа локтем в бок. Все это очень быстро ведет к неизбежной зевоте. Но надо сосредоточиться на драматическом конфликте. Итак:

В старый и заслуженный заводской коллектив приходит новый директор. Новый директор завода молод и жаждет новых трудовых подвигов. Цель его жизни: добиться увеличения не только валового продукта, но одновременно добиться повышения качества и мировых стандартов. Но стремится он к выполнению этих задач, как выясняется, не во имя благосостояния масс, нет: у него на уме только одно — чтобы про него напечатали в передовице "Правды". И коммунистическую мораль он повышает в коллективе вовсе не с целью приблизить заветную мечту всей передовой части человечества. Нет, его цель — демагогически разрушить и подорвать традиции производственного процесса, исторически сложившиеся со времен прежнего директора с целью добиться единоличной власти. На этом пути он не брезгует ничем: подогревает темные чувства отсталой части заводского коллектива; подстрекает неустойчивые элементы к доносам путем выдачи необоснованных премий и отгулов; вяжет всех в круговую поруку. В результате, начальник цеха — родоначальник рабочей династии, заслуженный рабочий, который знает, что не в коммунистической морали дело, а в крепости резца и тонкости стружки, — этот неподкупный мастер токарной правды пишет заявление об уходе по собственному желанию в кавычках. Комиссия из лиц, олицетворяющих в спектакле всю правду, одну только правду и ничего кроме правды (кроме "Правды" есть еще газета "Лесная промышленность"; в ней однажды весной появилась передовица с заголовком "На юге уже сажают" и фельетон об отсталых методах лесозаготовок "А не пора ли отказаться от топора?", — после чего я уже не видел этой газеты в центральных киосках), пытается выяснить полемический вопрос: кто виноват и что делать? Вы еще не загнули? В театроведении такого рода пьеса входит в разряд

"производственных". В цензурных комитетах такого рода хулиганство проходит по графе "неконтролируемый подтекст". "Неконтролируемый" в подтексте означает: "придаться нельзя".

Придаться действительно трудно. Придаться, собственно говоря, не к чему. На сцене ничего не происходит. Точнее, происходит то, что можно с утра до вечера слышать по советскому радио; а это и значит, что ничего не происходит, поскольку советское радио звучит для советского уха как жужжание холодильника: с одной стороны, не замечается, а с другой стороны — успокаивает своим постоянством. Да и что может происходить в заводском цехе кроме производственного процесса, где диалог напоминает детское стихотворение: "Я гайки делаю. А ты? — А я для гаек делаю винты". Но проницательный ум быстро ухватит намек на преступное соучастие, подменив "гайки" на "доносы", а "винты" на "судебные процессы". Или прямо так, в рифму: "Я гвозди делаю. А ты? — А я под гвозди проектирую кресты". Проницательный же зритель производственной пьесы, заметив сталинские усы в гриме молодого директора, быстро прикинет, что под заводским цехом надо понимать всю Россию, приход нового директора — как Октябрьскую революцию, а во всем производственном конфликте вокруг гаек и винтов — концепцию истории советской власти. Сразу же отметим, что на приеме спектакля цензурная комиссия запретит сталинские усы в гриме директора завода; но изобретательный режиссер заменит их на ленинскую бородку; если и бородка будет запрещена, тогда еще остались возможности в виде лысины, и в крайнем случае — в виде кустистых бровей, в которые переросли все бороды и усы классиков; все это будет обсуждаться в кулуарах и перерастет в конце концов в анекдот с бородой, а режиссер с горя облысеет. И все это не работа болезненного воображения, а натренированная привычка везде углядывать, по цитате из прошлого века, "намек тонкие на то, чего не ведает никто". Но в наш век, когда "вы знаете, и слезы преступленья, о брате сожалеть не смеет нынче брат" — это намеки тонкие на то, что всем хорошо известно, но только запрещено говорить вслух. На сцене происходит молчание искусства (газетный текст), в

зале происходит молчание зрителя (газетное выражение лиц), где же творится театр? Театр происходит в голове и у тех, и у других: потому что все обо всем догадываются.

Запрет на понимание происходящего в зале и на сцене становится и формой и содержанием этого спектакля, а тайные ходы сокрытия этого понимания — его фабулой. Проследить эти ходы — и значит обрести Аристотелев катарсис. Это похоже на детектив: нужно угадывать улики. Сидишь себе и угадываешь улики. И преступление тут есть свобода изъясняться без намеков, не подменяя, к примеру, Советскую власть аббревиатурой Софьи Владимировны. Это такой детективный роман, где преступник давно известен, как он убил тоже известно и какое ему предназначено наказание, и вообще, что делать и кто виноват — но только читатель должен угадывать улики всем известного преступления за страхом автора не проговориться о них; иначе следующим шагом преступника будет убийство самого автора. Это детектив о том, как герой-убийца запрещает автору-следователю вносить в протокол улики. Мы переживаем за протокол. В качестве адвоката этого странного следствия назначен цензор. Цензор следит за тем, чтобы следователь не протасил в протокол ничего явного. Следователь ведет протокол на языке, продиктованном цензором, то есть — на языке убийцы. В подобном же положении оказывается инакомыслящий движенец, следователь, ищущий истины перед лицом советской прокуратуры и органов КГБ. После процесса Синявского-Даниэля в московских домах шли яростные споры: чья речь на суде была лучше? Синявского, который отказался признать полномочность и законность этого судебного процесса; или Даниэля, который доказал незаконность советского приговора советским же языком? Тут мы переходим к обсуждению спектакля с другим режиссером.

### 3

С представления производственной пьесы вы можете уйти: встать и выйти, двери открыты, никто не держит. Но попробуйте хлопнуть дверь "Закрытого партийного собрания" и вообще собрания "за закрытыми дверями". Этот второй спектакль может идти параллельно с производ-

ственной темой, желательно даже представить, что он идет за стенкой, в соседнем с театральным залом помещении, скажем, в кабинете парторга этого театра. За закрытыми дверьми идет другая драма, и герой не отделается фразой: "И на этот раз меня уволь" (Пастернак). Декорации этой производственной пьесы под названием "Разоблачение врага народа" тоже незамысловаты и общеизвестны: стол членов президиума под сукном и ряды стульев. Атмосфера пьесы: душная. Тексты ролей заучены, известен порядок выхода на сцену президиума. Роли составлены из народных выражений и звучат приблизительно так: "Объективно скатившись в болото, стал лить воду на мельницу и, попавшись на удочку, пошел на поводу обратной стороной все той же медали". Такие спектакли во времена режиссуры прокурора Вышинского приходилось детально репетировать, а участники убеждали себя в том, что эти репетиции — необходимый этап перед поднятием занавеса светлого будущего, и в этом их убеждали пытки во время следствия. Сейчас ни пытки, ни репетиции уже не нужны: все роли давно заучены, и даже можно пускать на представление рецензентов от иностранной прессы.

В производственной пьесе про нового директора старого завода излагается то, как страна превращается в такое вот душное собрание за закрытыми дверьми, где подсудимый — это тот, кто не согласен отождествлять истину с генеральной линией партии. Но излагается эта концепция на языке гаек и винтов. То есть на том же языке печатной "Правды", на котором ведется закрытое собрание. Печатная "Правда" используется для высказывания непечатной истины, и для понимания нужно знать и то и другое. Когда я пересказывал содержание производственной пьесы, я использовал языковые штампы и лозунги закрытого собрания, и в этом переносе и состояло разоблачение разговоров о гайках и винтах. Но к такому разоблачению нельзя придаться. Разве что вызывает подозрение само желание видеть в разговоре о гайках и винтах лозунги и клише советского партийного жаргона. И все же я не говорил о тиранах, узурпировавших власть и затопивших в крови все свободное и гуманное. Я оставался в багетовых рамках советского языка, согласно которому все тираны давно

свергнуты, а всему свободному и гуманному приходится бороться разве что с их родимыми пятнами и отрыжками. Я как бы не выходил за дверь здания театра под названием СССР, где параллельно идут эти два спектакля. Я лишь апеллировал к языку партийного собрания как к смыслу языка производственной пьесы. Производственные процессы приводят к ржавчине. Закрытые собрания кончаются кровью. Тот, кто это знает, понимает нелюбовь цензоров к смешению партийного языка с токарным. Смысл производственной пьесы обнаружился в сталинском закрытом собрании. Но пьеса и собрание идут в разных комнатах. Они отделены звуконепроницаемой стеной. Таким образом смысл отделен от звуков звуконепроницаемым барьером. Слышится, конечно, звон, но неясно, где он. Смысл партийного собрания в том, что человека, мыслящего иначе, пытаются упрятать за решетку. Смысл, таким образом, всего происходящего оказывается за решеткой. И в тюрьме обретает, наконец, свободу слова. Неизбежность этой кандалной цепочки умозаключений и называется "неконтролируемым подтекстом". То есть: слова наши, но звон чужой.

#### 4

Тут начинается филология, потому что слово "подтекст" нужно понимать чисто фонетически, по сходству звучания. Коренится ли значение этого слова в глаголе "подъесть"? Или, может, в глаголе "подсесть", и, следовательно, "подтекст" означает "подсеет"? Но большинство специалистов сходятся на том, что это слово, не существующее ни на одном европейском языке, означает известный в русском языке "подъеб". Да и какой, действительно, Хемингуэевский айсберг может проплыть между колонок газеты "Правда"? Трудно назвать подтекстом порядок фотографий членов Политбюро в "Правде", согласно которому догадывались о переменах наверху. С таким же успехом слово "пожалуйста" надо было бы называть подтекстом, если бы советская власть разговаривала сплошным матом. (Поразительна в этом смысле история, рассказанная В. Буковским: о заключенном, которого лагерное начальство многие годы "лишало ларьком" только потому, что тот не умел матюгаться и его вежливость воспринимала-

лась именно как этот самый "подъеб"; Буковский, взяв на себя роль профессора Хиггинса, неделю разучивал с этим пожилым заключенным самые грязные и смачные матерные изыски: в очередной разговор с начальством его "Элиза Дулиттл" одержала победу, добившись права на ларек). Смысл, вынесенный за скобки советской "матерщины", и становится подтекстом.

## 5

Однажды, задыхаясь от монолитной атмосферы одного из таких обязательных собраний за закрытыми дверьми, я стал машинально записывать слова одного из членов президиума. Бумажка, которая оказалась у меня под рукой, была сложена вчетверо, и поэтому длинная фраза из выступления — "Пусть враги социализма не надеются нарушить монолитное единство наших ленинских рядов" — расположилась на узкой четвертушке бумаги в таком виде:

Пусть враги социализма  
не надеются нарушить  
монолитное единство  
наших ленинских рядов.

Этот верлибр в размере хорей (сравните с пушкинским: "Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца") является шедевром советской речи эпохи классицизма, потому что это четверостишие возникло как бы само по себе, из воздуха закрытого собрания, и доказывает, что советский язык превратился в поэтическую речь. Словарь настолько закреплен, штамп настолько накатан (как рифма "кровь — морковь"), что, ставшие поэтическим каноном и зажатые в ритм-размер газетного столбца, слова стали выкладываться в четверостишия. Постепенно этот лающий хорей, заполнив и переполнив газетные столбцы, стал затапливать и мозги читателей, пока вся страна не стала декламировать хором и поодиночке одну не законченную до сих пор поэму, начинающуюся словами "И как один умрем в борьбе за ЭТО". В бой пошли за власть Советов, но как один умирали в борьбе за некое ЭТО, и интерпретация этого поэтического ЭТО зависела от поколения советчиков, которые, догадавшись до тайного смысла этого указательного местоимения, уносили эту тайну с собой и с пулей в затылке. Смысл, как я

уже сказал, уходил за тюремную решетку, а этот хорей, заучивавшийся наизусть с кровью, из ранга оригинальной русской поэзии перерастал в масштабы не просто советского языка, но уже советской речи. Между речью и языком такая же разница, как между стихом и подстрочником. На языке изъясняются некоторые, речью говорят все. Советский партийный язык, запретив все остальные языки, объявив их иностранными, превращается в речь. Я подробнее остановлюсь на этом позже, сейчас же я хочу подчеркнуть, что эта новая поэтическая речь узурпирует весь лексикон, связанный с мечтой человечества о царстве правды и справедливости. Что же остается делать подсудимому на таком общественном суде за закрытыми дверями? Он может заговорить по-китайски или, что то же самое, отказаться от последнего слова. Но решив защищаться, то есть решив переубедить своих судей, он должен пользоваться понятным языком — то есть все той же советской речью. Отказавшись от этой речи, ты, по ее законам, отказываешься от передовой мечты всего человечества, то есть становишься врагом народа. Приняв эту речь в качестве законной, ты принимаешь и ее этику, согласно которой "Партия и Истина — близнецы-братья". Идя против Партии, ты, согласившись на советскую речь, идешь против Истины. И, значит, должен быть расстрелян. Выступая за Партию, ты предаешь свое, внепартийное понимание Истины. Но для этого нужно, прежде всего, это внепартийное понимание иметь. Тут все и начинается. На таких собраниях скрытый враг народа обвиняется, к примеру, в том, что он занимался хранением, изготовлением и распространением с зоологической ненавистью ко всему советскому. Чтобы защититься, надо доказать, что ты этим не занимался, а за советский строй и вообще в борьбе за Это. Что это, наоборот, те, кто тебя обвиняют, извращают ленинские нормы партийной жизни, и, свалившись в болото, сами попались на удочку и идут на поводу обратной стороны той же медали, объективно в борьбе НЕ за Это. Инакомыслящий на таком собрании, отстаивая свою кожу и совесть, вынужден петь все тем же хореем, попадая в строку, хотя бы так:

Пусть враги социализма  
Второпах зовут отца.

Тятя, тятя, наши сети  
наших ленинских рядов  
притащили мертвеца  
монолитное единство.

При таком декламировании замечательно то, что, повторяя эхом друг друга, судья и подсудимый вкладывают разный смысл в одни и те же слова, в одну и ту же советскую справедливость и социалистическую законность. У каждого в зале своя интерпретация советской речи. Каждый вкладывает в происходящее свой моральный смысл. Мораль вынесена за скобки самой речи. Вынесена вне всего, произносящегося вслух. Эта мораль и этот смысл существует лишь в голове, как и во время производственной пьесы в настоящем театральном зале за стеной. Но какой спектакль все же настоящий? И толчется ли истина за дверью или уже давно ушла гулять по свету, в эмиграцию?\*

6

На вопрос о том, сколько можно представить себе доброты в молчанье и сколько смысла в мычанье, дал ответ большой ученый в вопросах языкознания, товарищ Сталин. Товарищ Сталин сказал: "Нет мыслей без слов". Если человек, значит, говорит на советском языке, то и мысли у него советские. В эпоху окончательной победы социализма (сталинизма) у человека не должно оставаться никаких посторонних мыслей, поскольку не должно существовать никакой другой речи, кроме как советской. В ту языковедческую эпоху даже иностранные языки становились вроде советского настолько, что иностранный язык можно было понять, не утруждая себя особо словарем: загляните в иностранные разговорники тех времен — они заполнены такими, приблизительно, разговорами: "Я член коммунистической партии. Являетесь ли вы членом ком-

\* Отправляясь в эмиграцию, мы уходим от советской жизни, укладывая советскую речь в подтекст, как в чемодан с наклейкой "заграница". Прибыв за границу, мы обнаруживаем, что носить это нижнее исподнее уже невозможно: верхняя одежда не налезает. Или еще того хуже: открыв чемодан, мы обнаруживаем, что он пуст, хотя мы всю дорогу не отрывали от него глаз. Продаю этот фокус эмигрантскому цирку.

мунистической партии?" Но близорукие буржуазные языковеды не разглядели до конца всей дальновидности гениальной концепции товарища Сталина: если человек мыслит словами, то, предаваясь антисоветским размышлениям, он неизбежно занимается антисоветской агитацией и пропагандой, поскольку его мысль формулируется лишь через антисоветскую речь. Враг народа не только тот, кто совершил вредительство; врагом народа становится всякий, кто усомнился, поскольку мысль неотделима от слов и, следовательно, поступков. Но теория должна подтверждаться практикой, и поэтому сталинские следователи так настойчиво добивались словесного письменного признания антисоветских намерений у подсудимого. Под протоколом допросов была графа: "Подпись расстрелянного".

Но нам сейчас особенно важно другое следствие этой концепции: не существует инакомыслия, не существует антисоветского сознания у человека, говорящего советским языком. Чтобы уничтожить антисоветское сознание, нужно, следовательно, уничтожить всякую речь, не входящую в поэзию советского хорея. Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан: ты должен заучивать этот хорей наших сталинских рядов. Во имя новой речи надо было уничтожить и забыть разговоры своей семьи, своего круга, своих книг. Слова запрещались. По словарю, как впоследствии по форме носа, можно было определить врага народа. Появился огромный список ярлыков для вредных литературных течений, подлежащих последовательному искоренению: разоблачались поэты кулацкие, поэты декадентские, поэты кадетские, византийского христианства и славянской души, дворянства и поповства, народа и самодержавия, формы и содержания, бога и черта. Вот именно: феноменальность советского языка в период классицизма (эпохи борьбы с космополитизмом) в том, что этот язык осуществил тысячелетнюю мечту России о наведении моста между небом и землей. В один прекрасный день было объявлено, что советская власть на земле — это и есть рай небесный, в центре которого сияет солнце нашей Родины — Сталин. С этого момента вся страна вдруг заговорила стихами. Потому что вместе с тракторным въездом советской речи в сознание человека исчезает вся-

кий вопрос о добре и зле: поскольку зло уже искоренено онтологически, остались лишь его родимые пятна, которые можно удалить скальпелем хирурга. Не ирония ли это, что разговоры Андрея Белого и Александра Блока накануне революции, переполненные символическими намеками на Жену Облаченную в Солнце и Мамку Третьего Завета, превратились в затравленный шепот инакомыслящих, намекающих на Солнце Нашей Родины — Сталина. Встречаясь же в публичном месте, они разговаривали друг с другом так: "Я член коммунистической партии. Являетесь ли вы членом коммунистической партии?"

## 7

"Правда" трепалась на каждом повороте — с уличных стендов, как с трибун. Правда пыталась пролезть между строк сквозь прутья решетки. Но если б она вышла на свободу, ее никто не понял бы. Потому что язык "Правды" стал речью советской страны. Все остальные языковые ухищрения оказывались стилизацией несуществующего разговора, разговора расстрелянного. И лишь живой разговор, то есть речь, и есть великая литература. Соучастие в таком разговоре является в определенные исторические периоды моральным преступлением. Дело революционеров с этим преступлением бороться. Дело писателя — вести протокол этого преступного разговора. Если язык "Правды" заменил русскую речь, то "Правда" и есть великая русская литература. Пыльняк Паустовского фаустианства фальшивее закаляющегося сталинизма толстофадеевщины, потому что отказывается слышать ту ложь, которая носилась в воздухе и о которой Андрей Белый сказал: "Печатать ложь — это и есть правда".

Вот что Пушкин писал о холерных карантинах:

"Покамест полагали, что холера прилипчива, как чума, до тех пор карантинны были зло необходимое. Но коль скоро начали замечать, что холера находится в воздухе, то карантинны должны были тотчас быть уничтожены".

## 8

"Мы говорим — Ленин, подразумеваем — партия, мы говорим — партия, подразумеваем — Ленин", — говорит

Маяковский. "Говорим одно, подразумеваем другое", — продолжает великого поэта советский анекдот. Но этот анекдот сочинялся в ту эпоху, когда Ленин и партия не были еще близнецами-братьями; их только поэтическая сталинская мысль попыталась отождествить, по-настоящему сделав близнецами, чтобы потом вместо Ленина подставить имя Сталина. Ленин в ту эпоху был одно, а Партия все же несколько другое, в их сближении была поэтическая метафора, это было смелое сближение "далековатостей" по Ломоносову, но в ходе дальнейшего неуклонного ломания носов и выбивания зубов население приучалось к мысли, что эта поэтическая метафора и есть объективная реальность, что все понятия на свете есть близнецы-братья имени товарища Сталина. И вот на трибуне XX-го Съезда появился Хрущев и наступил новый этап в вопросах языкознания. Хрущев призвал бороться с последствиями культа личности Сталина путем возврата к ЛЕНИНСКИМ НОРМАМ партийной жизни. Хрущев таким образом призывал вернуться к пра-языку, пра-советскому языку, когда еще не до конца был отлит монумент советского бронзового языка в виде бюста товарища Сталина. Хрущев тоже понимал толк в языкознании и стал известен своей вольной лексикой, введя в язык официальных заседаний слово "говно". Опираясь на интуицию собственного произношения, он был убежден, что слово "говно" пишется через "а". Когда же ему намекнули, что это слово пишется по всем правилам через "о", Хрущев, как известно, потребовал решительной реформы русского языка. Поскольку понимал, что, говоря на прежнем языке, при произнесении слова Партия все Политбюро будет подразумевать или говно или Сталина, но никак не Хрущева. Я считаю, что Хрущев погорел на орфографии, хотя обвинили его официально в волюнтаризме. В это слово Политбюро вкладывало свой смысл. С Хрущевым родилось инакомыслие. Доныне гордый наш язык к почтовой прозе не привык.

Волюнтаризм сыграл злую шутку со сталинским монументализмом: светлый квадрат от бывшего портрета вождя на запачканных обоях какое-то время казался миражом окна в Европу. Когда все больше людей стало прошибать своим лбом стену, полагая, что это окно, приходилось

или вешать другой портрет или переклеивать обои. Эпоха Хрущева — это эпоха орфографической реформы, смены стилей, то есть возникновения пародии. Отход от классицизма меняет угол зрения, и обнаженная Венера глядится голой девкой. Если будущее поколение советских людей, в отличие от предыдущего расстрелянного, не будет жить при коммунизме, то как, интересно, воспринимать слова революционной песни "Мы жертвою пали в борьбе роковой"? "Новый мир" стал вспоминать в своей критике такие забытые детали, как смерть Пушкина в 37-м году. Прошлого, конечно, века, но опуская век и опуская имя Пушкина, можно было дальше рассуждать о поэзии, убитой в 37-м сталинском году. Но это не свидетельство нового мышления: это пародия, то есть смешение стиля в рамках того же языка, той же речи, но с интонацией придурка, путающего не к месту цитаты. В эпоху волюнтаризма был возрожден склочно-шкловский прием, основанный на том, что цитата — как дышло: куда повернешь, туда и вышло. (Александр Вольпин во время очередного обыска спросил работников КГБ: "Является ли антисоветской книга, в которой написано: "Я бы вешал этих коммунистов на первом же суку". Книга была изъята работниками КГБ. Это был том из собраний сочинений В.И. Ленина. Ленин имел в виду коммунистов-утопистов прошлого столетия). Но советская речь эпохи волюнтаризма, как скорпион жаля себя хвостом, не помышляла о деторождении, и, казалось бы, оправдывалось пророчество Аркадия Белинкова: "Живородящая проехидна не способна произвести на свет членистоусого жабронга; живородящая проехидна производит на свет только живородящую проехидну".

## 9

Что вообще произошло? Почему Ленский послал вызов Онегину? Потому что Ленский решил, что лучший друг соблазнил его лучшую подругу, а дело на самом деле обстояло так: Онегину было скучно, и он поддался уговорам Ленского и поехал в гости к Лариным, а там скука и пошлость, и вот в отместку Ленскому (чего он, мол, меня сюда затащил!) стал ухаживать за Ольгой (а Татьяна побледнела, вы заметили, что Татьяна побледнела?), заводит речь о том,

о сем и, "наклонясь, ей шепчет нежно какой-то пошлый мадригал". Из-за "пошлого мадригала" был убит поэт Ленский. А когда Ленский был реабилитирован, выяснилось, что люди разучились шептать пошлые мадригалы. В душе бушует буря чувств, а сказать человек может только "бей жидов, спасай Россию!" или твердить о нарушении в период культа личности ленинских норм партийной жизни. Шепот пошлого мадригала на балу превратился в тайный партийный донос или в открытое письмо протеста с копией в Государственную Безопасность. Пулемет советской речи расстрелял личный разговор, и, продолжая говорить на советской фене, передовая советская интеллигенция продолжала считать личные отношения (кто кому с кем изменил) чем-то постыдным. Но жизнь, как и роман, начинается с болтовни в гостиной, с какого-то пошлого мадригала. Этот пошлый мадригал был отправлен в ванную комнату, где можно было вдоволь наплакаться. Личный разговор был запрещен сверху, поскольку он был экспроприирован общественными судами на партсобраниях. Но наступила эпоха волюнтаризма, и реабилитированные, возвратившись в коммунальные квартиры, вели уже бесцензурный разговор о том, кто виноват в том, что нас заставляют говорить на нашем собственном языке, который мы ненавидим. Разговор этот начинается обычно с известий об обыске, продолжается дискуссией о работе подкорки во время допроса, переходя в тираду о традиции насилия и споре славян между собою, уводящем в вопрос о лжи как о самозащите и жизни не по лжи, прерывающийся личными обвинениями в двурушничестве и кончающийся все тем же выводом о круговой поруке, в которой никто не виноват и непонятно, что с ней делать. Пока по всей жилплощади шел крутой антисоветский разговор на советском языке, в ванной или в кухне кто-то плакал о том, что она или он не придет назад. Но к семидесятым годам география советского разговора меняется (не только за счет вступления советских войск в Чехословакию, но и за счет подрастания еще нерасстрелянного поколения): "пошлый мадригал" перемещается в "большую" комнату, а "партийный разговор" закрывается на крючок в ванной. Но движется этот разговор по коридору, и вот в какой-то момент, остановившись где-то посере-

дине между кухней и гостиной, вы оказываетесь в центре смысловой путаницы: Она (Россия) и Он (Советский Союз) из одного разговора встречаются с Ней (Таней), которую бросил Он (Женя), и личные отношения становятся историческими понятиями с большой буквы. Впервые, вместе с возникновением, точнее, с возрождением личного разговора в домах Москвы, за окнами которых летел вперед чумовоз советской речи, моральная оппозиция партийному языку обрела слова. Доныне гордый наш язык к почтовой прозе не привык. И все же люди стали писать письма не только в высшие инстанции с копией в "Правду", но и самим себе с копией другу. Читаю с тайною тоскою и начитаться не могу.

## 10

Представьте себе, что в одной из московских квартир идет по обычному маршруту из ванной через кухню по коридору в "большую" комнату такой вот разговор. Предположим, разговор о предстоящем Митинге Гласности Молчанием. Был действительно такой митинг на Пушкинской площади: надо было продемонстрировать свое инакомыслие в знак протеста против отсутствия гласности путем молчания. Надо было прийти к памятнику Пушкина в День Конституции (гарантирующей свободу слова), снять шапку и молчать. Некоторые полагали, что молчать надо, чтобы не поддаваться провокации органов, а шапку снимать перед Пушкиным. Чтобы придраться было нельзя. Со стороны ничего не поймешь. Если человек воды в рот набрал, то лишь одному ему известно, что этим своим молчанием он требует гласности. Но этот обет молчания становится демонстрацией, как только принимает монашескую форму путем снятия шапки. Демонстративное молчание такой же протест, как отказ от дачи показаний, как, собственно, демонстративная пауза в разговоре. Молчание — это и есть подтекст советской официальной речи из громкоговорителей. Демонстративный подтекст превращается в политический протест. Из личного соображения молчание превращается в общественный бессловесный поступок. Но вот представьте себе, что, вслед за обсуждением участия в таком митинге молчанием, вы получаете открытку. Обычную почтовую открытку. У нее вид празд-

ничной открытки. И праздничная надпись: "С праздником на вашей улице". А на обратной стороне изображение памятника Пушкину на Пушкинской площади в снегу. Но повертев открытку в руках, опытный получатель таких открыток сообразит, что слова на открытке "С праздником на вашей улице" есть аллюзия и реминисценция на знаменитые слова Сталина "И на нашей улице будет праздник!"; а памятник Пушкину на открытке — место встречи участников митинга гласности молчанием в годовщину сталинской конституции 5-го декабря. Вся открытка, таким образом, это печальный намек на советский характер антисоветских митингов с тонкой демонстрацией молчания, требующего гласности.

Но ведь открытка — вещь сугубо личная. Открытка — это факт личной биографии двух людей: отправителя и получателя. Но открытка, как незаклеенное в конверт письмо, доступна любому постороннему взгляду. И прежде всего глазу цензора Главпочтамта. Пройдя через почтовую цензуру, открытка несет на себе штамп официальной почты, государственный штамп; то есть, личный факт получает статус, официально признанный государством. В сталинскую эпоху личный факт не отличался от общественного и в интимных открытках люди поздравляли друг друга со здоровьем Вождя и Учителя и с Годовщиной Октябрьской революции. Открытка, поздравляющая с митингом инакомыслящих, пародирует эту памятную атмосферу историчности, но это уже пародия: за открыткой спрятан личный разговор, начавшийся в московской квартире после смерти Сталина. Ведь открытка, адресованная конкретному участнику исторического события как личному собеседнику, персонифицирует исторический факт. Такая открытка — это материализация новой речи, где личный разговор путается с общественной дискуссией и "она" из разговора в ванной путается с "Россией" из гостиной. Эта открытка есть возведение личного разговора на официальный пьедестал (через штамп Главпочтамта) .

"На вопрос хозяйки: "Чаю?" — кто-то из гостей воскликнул: "Чаю воскресения из мертвых!", — вспоминает Андрей Белый начало века. Но кроме переноса словарного значения слова, существует еще перенос, так сказать, син-

таксический. Одними словами дело не ограничивается. Личный разговор, возникший в шестидесятые годы, окружен громкоговорителями официального советского жаргона и всем тем, что за этим стоит и лежит в Мавзолее и развевается на демонстрациях и задыхается в пересылках. Новая школа прозы — это перенос стилистических законов сталинизма в личный разговор.

Как поступает верный ученик этой новой школы переноса? Прежде всего надо записывать всякую ерунду, подхваченную во время шумного квартирного разговора, и стенографировать личный разговор с человеком, разговоры с которым и есть твоя жизнь. Потом надо вспомнить, как поступали со стенограммами допросов сталинские следователи. Они исказили имена. Они приписывали одни слова другому человеку, а другие слова третьему подсудственному. Кроме того, мелькали имена великих людей. Но кроме того, надо вспомнить, что стойкие люди старались не называть имен общих знакомых во время следствия. Опустите имена, и у вас получится поток сознания. Но на самом деле это поток дезинформации, который понимают только участники того разговора, стенограмму которого вы читаете. Общие знакомые узнают свои реплики в стенограмме. Они могут оскорбиться. И поэтому надо поступить так, как поступала Софья Владимировна (Советская Власть): она подменяла личное высказывание цитатой из классиков марксизма-ленинизма. Если вы знаете английский или еще какой иностранный язык, у вас большие возможности: в хорошем романе всегда найдется цитата, говорящая практически теми же словами то, что сказал ваш знакомый вчера в гостях. Заменяв его слова цитатой из романа, вы можете называть вашего знакомого именем героя из иностранного романа. И в обработке следующей стенограммы вы можете приписать вашему знакомому судьбу этого литературного героя, но в обстоятельствах вашего знакомого. Возможно, что несмотря на все эти ухищрения прототип узнает себя, и тогда разразится скандал, во время которого вы будете отвечать на выпады вашего знакомого цитатами из украденного героя, и стенограмма этого скандала станет продолжением вашего романа. В конце этого романа будут стоять слова: "Подпись расстрелянного".

## 2. ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОГО РАЗГОВОРА

— Доктор, что делать, если снятся сны на иностранном языке?

— Спать с переводчицей.

Анекдот

1

О том, как будет происходить продолжение старого разговора между внутренними и внешними эмигрантами (и репатриантами) в новых обстоятельствах 1984 года рассказал наш общий знакомый иностранец Джордж Орвел. Когда жизнь идет под лозунгом "молчи, скрывайся и таи", надо слиться с шумной толпой на главной улице и, то обгоняя прохожих, то отставая, на четыре мгновения коснуться плечом друг друга и, идя нога в ногу, обменяться продуманными словами, не поворачивая друг другу лица и вновь размежеваться в толпе до следующего прикосновения плечами. Иногда между таким коротким обменом репликами может пройти неделя, месяц, год. Надо помнить и свою и реплику собеседника. Надо много чего помнить. Шпионская жизнь на службе у неведомой державы.

2

Есть два рода мертвецов: одни возносятся на небо и достойно смиряются с вечным одиночеством загробной жизни перед лицом Бога; другие никак не могут успокоиться, забыть разговоры о Шиллере, о славе и тюрьме под пунша пламень голубой, и всеми силами пытаются попасть обратно на землю в виде привидений, вампиров и прочей антисоветской нечисти. Они звонят по телефону, пишут письма и засылают в Россию джинсы с попутными иностранцами. Эти потусторонние пытаются забыть о холодном одиночестве эмиграции: потому что эмиграция это не только отбытие с родины и разлука с близкими, но и встреча с самим собой и больше ни с кем.

Какой же тут может быть разговор, когда каждый думает или о собственном отчете перед лицом Всевышнего, или о налаживании контактов с тем светом за железным занавесом. Твоя реплика повисает неотвеченной, а собеседник в оцепенении, слышав бурчание у себя в животе, встряхивается и спрашивает: "Что?" В конце концов люди перестают встречаться, потому что необходимости в собеседнике нет, когда человек обращается к собственному пупку. Люди уже не ждут друг друга в гости, чтобы обговорить то, что случилось в тех гостях, где они были вместе, и даже самый дешевый и сивушный сорт разговорного алкоголя, сплетня, потеряла свою привлекательность. Раньше люди пили, чтобы разговориться, теперь люди пьют, чтобы не выдать собственного молчания. Не происходит постоянного обговаривания сказанных слов, смысл которых остался невыясненным. Всё вдруг всем стало ясно, и нечего скрывать от соседей: бывшие собеседники голыми ходят перед железным занавесом, который блестит ослепительным зеркалом, где каждый бьется о свое отражение. Разговора не происходит. Происходит игра в испорченный телефон. И, как в испорченном телефоне, переключка кукушки с петухом докатывается до Москвы неузнаваемо искаженной и отвечают с другого конца нечто несусветное, о чем забыл или заставил себя забыть на этом "том свете".

Потеряно ощущение загадки и тайны случившейся встречи, совместного ежедневного бытия, тайны и загадки, на которой и держится общий разговор. Когда в каждом из собеседников ты чувствуешь загадочную правду— если не в их поступках, то в манере жизни, в жестах и интонациях, во всем том, что формулировке не поддается и что можно понять, так и не отгадав, лишь в ходе ежедневных встреч и разговоров, продолжение которых и держалось на неразгаданности этой правды: не потому что ее кто-то из собеседников скрывает, а потому что ее не выразишь, ее лишь можно вечно обговаривать; когда тайна выговаривается, разговор заканчивается. Я считаю себя верующим той религии, где имя Бога не произносится: назвать

Его по имени есть пошлость и фамильярность, как в коверканье фамилий незнакомых лично знаменитостей. Чтобы знать, не умея произнести, Его имя, надо ежедневно молиться, надо ежедневно читать, комментировать, пытаться разгадать и вновь обращаться к священным текстам, какими бы незначительными они ни казались с первого взгляда. Это и есть разговор с Богом, которому нет конца. В настоящем разговоре совершенно не важно, какие именно слова произносятся на данную тему: настоящие собеседники готовы подхватить любую беседу, потому что в конечном счете любой разговор — это столкновение двух разных пониманий любви, то есть Бога, имя которого назвать невозможно и приходится говорить о чае и чаяниях, о ГОСТе и погосте, о цезуре и цензуре. Разговор — это вражда двух тайных религий, имя которым не ведомо самим верующим, и чтобы доискаться до этого имени, важны не сами слова разговора, а выяснение, что за ними стоит, какая "внутренняя реплика собеседника" (П.Улитин). Разговор — это выяснение своих счетов с Богом через собеседника, и когда твоя собственная внутренняя реплика загоняет тебя в тупик, разговор заканчивается скандалом.

## 5

Недаром такие скандалы происходят из-за ерунды: шел разговор о достоинствах чая в сравнении с кофе, и вдруг собеседник вскакивает и хлопает дверью. Вспоминая этот ерундовый разговор до исступления, понимаешь, что в незначительных, случайно и неохотно или, наоборот, до смешного легкомысленно промелькнувших словах разговора было сказано о самом существенном для тебя — что ты не решался или, точнее, не догадывался сказать о себе самом. Память враждебна всему личному (О. Мандельштам), и думая о самом себе, человек самого себя цензурирует, память совершает самопредательство, и уличить ее в этом может лишь случайная реплика собеседника, странным образом разрешающая твой негласный вопрос, который не решался задать самому себе. В этой негласности и запрятанности вопроса к самому себе и одновременно в тяге к саморазоблачению — сущность тяги к собеседнику

и кружению в разговоре. И потом, в условных ночах, мы пытаемся восстановить, какое щебетание нашей памяти закричало в невольных словах собеседника. С этого и начинается литература.

## 6

Литература — это разговор, который мог бы быть, но не состоялся; точнее состоялся, но промелькнул незамеченным в уме, пока уста проборматовали какую-то ерунду в ответ. Но вот, в ночь после разговора, как после допроса, ворочаешься в зыбучем песке предположений: "Он мне сказал, имея в виду, ЧТО, а я, дурак, не сообразил, что надо ответить ТАК". Самое замечательное в этом ночном пересчете дневных промахов: с какого-то момента, пытаясь восстановить высшую справедливость, мы сочиняем непрозвучавший разговор, обмен внутренними репликами, и начинаем приписывать себе слова нашего собеседника, а ему приписывать свои собственные ответы и намерения, направленные против нас самих, но в ответ на которые у нас уже заготовлены убийственные аргументы. Что не сумели днем в словах сказать уста, то пулями доскажет ночью память. Мы пытаемся вообразить себе разговор, где при всей провокационности вопросов собеседника, столь же убийственны наши ответы. Литература — это тоска по несостоявшемуся разговору, тоска, спровоцированная прошедшей беседой. И в этом идеальном разговоре говорится про себя, как про другого, а про другого, как про себя. Как приписать собеседнику собственные промахи, а себе все заслуги, чтобы догадаться о собственной моральной катастрофе? В приписывании на собственный счет чужих слов, отгадав таким образом слова своей собственной мыслимой реплики во время беседы, и заключается литература.

## 7

Но в этом, в сущности, и заключается работа переводчика: отыскать в памяти эквивалент родной речи в ответ на услышанное иностранное слово. В этом отношении к

беседе и заключается открытие, сделанное П. Улитиним в прозе:\* те реплики, которые остаются невысказанными в момент разговора, они — переводные картинки услышанного, и собранные вместе выстраиваются в новый разговор — литературу. Я не имею в виду разговор со всем человечеством. Такого не существует. Мы всегда сводим условные счеты с близкими друзьями. Разговоры же людей одного круга поразительны одной чертой: люди одного круга говорят одинаково. Невозможно сказать, кто кому подражает, потому что в одной компании мы разговариваем цитатами друг из друга, промывая друг другу косточки, накапливая архив личных событий, вырастающих в некую мифологию клана. В этом клане (как в африканском племени, где все в роду с кольцом в носу) все похожи друг на друга манерой, интонацией, вплоть до манерного заикания. Вошедшему в это застолье разговоров с улицы, со стороны, непонятно, почему раздастся общий хохот при каком-то незначительном словечке и почему упоминание какого-то незначительного события встречается гробовым молчанием. Люди одного круга понимают друг друга с полуслова, по ключевым словам, значение которых меняется год от года, в связи с новыми событиями внутри этого круга, и вовремя прозвучавшее ключевое слово может быть встречено взрывом хохота или скандалом, не понятным со стороны.

## 8

Разговоры такого круга вырастают, короче говоря, в свою РЕЧЬ: со своим стилем, строем, грамматикой, синтаксисом и лексикой, всем тем, что и создает новую литературу. Так шло развитие русской литературы по крайней мере до революции, от поэтов круга Пушкина, до кружка Станкевича. Пушкин не открыл никакого нового поэтического языка: в его кругу все так писали, это была речь круга, но только вот Пушкин говорил этой речью лучше своих друзей; недаром же многие годы то или иное

---

\* Павел Улитин (род. 1918). Живет в Москве. Преподает иностранные языки. См. Приложение.

стихотворение Жуковского приписывалось Пушкину, пока не выяснилось, что писали они вместе. Недаром же Белинского обвиняли в том, что, мол, Станкевич все наговорил, а он, Белинский, все взял и записал. Достоевский — единственный член кружка Петрашевского, кто услышал и угадал в разговорах этого кружка новую речь, новую мифологию мышления, новую литературу. Он действительно все списывал, но не из стенограммы разговоров, а из того непроизнесенного диалога участников разговоров, диалога, происходившего в головах собеседников, когда уста натывались на ключевые слова вокруг событий этого кружка. Разговоры узкого и сплоченного кружка — это новая речь, окруженная мутным полосканием затертого официального общепринятого языка, и новая литература всегда возникает с угадыванием новой речи, рождаемой только в кругах и кланах. И когда такие круги исчезают, возникают в литературе дурные стилизации, когда подражание стилю разговора умерших или ушедших в прошлое сочетается с глухотой к окружающей тебя речи (толстофадеевщина). Последним всплеском благотворной кружковщины были отношения в кругу Белого—Блока: но уже замороженный и погубленный надеждой на всеобщий язык преображенного человечества, Андрей Белый заметил и ввел в свою литературу лишь ритмы и интонации своих личных разговоров с Блоком; вместо того, чтобы разобраться и услышать новую мифологию речи, рождавшейся в их отношениях, он взгромоздился и пришпорил все мифологические конструкции, с грохотом катившиеся паровозом эпохи, сработанным инженерами человеческих душ. Но попытка разобраться в загадке интимного разговора была все-таки сделана, и в одной из лучших книг об Александре Блоке Андрей Белый так оправдывает неспособность передать "литературу" своих разговоров с Блоком: "У нас есть две пары ушей: одни слушают внешнее слово, текст слов, другие слушают внутреннее. Когда бодрствуют одни уши, то неизбежно погружаются в сон другие". Андрей Белый не учел еще третью пару ушей, которая никогда не дремлет.

Проза, растущая из речи закрытого круга, неизбежно бессюжетна, поскольку жизнь такого круга происходит в разговорах, а не в действиях. Сюжетом в такой прозе становится прослеживание судьбы однажды сказанного слова, существенного, ключевого в ту зиму, для этой весны, и судьбу этого слова надо проследить в нагромождении посторонних разговоров. И потом еще так все зашифровать, "чтобы никто не догадался, что это песня о тебе" (советская песня). В ход идут цитаты из классиков, когда нельзя процитировать прямую речь знакомого; переписываются страницы иностранной литературы там, где герои ведут себя так же, как наши знакомые вчера, сегодня и завтра. Тут мы и возвращаемся к проблеме перевода. Если русская литература понятна в конечном счете только в России, то проза Улитина до конца понятна только улитинцам. Ее нельзя веревести на советский, общеупотребительный язык: она перестанет быть литературой своего круга, то есть литературой вообще. Но это трагедия не прозы Улитина, а советской жизни.

Напомню, что вместе с окончательной победой социализма в России советская власть перешла от чисток партаппарата к химчистке русского языка, и вместе с физическим уничтожением фракций и кружков в России утвердилась советская речь как единственно возможная и мыслимая: из языка партийных лозунгов она превратилась в речь каждого в отдельности и вместе взятых и арестованных. Но вот, с шестидесятых годов, вместе с разоблачением культа одной только личности было реабилитировано право двух личностей обсуждать друг друга хотя бы в стенах личной квартиры. Вновь зазвучали разговоры о Шиллере, о славе и судьбе под водки пламень голубой. Вновь кружок Пушкина не общается с кружком Станкевича, и оба кружка не желают иметь ничего общего с кружком Асаркана; в каждом кружке понимают друг

друга с полуслова, свои ужимки и прыжки, своя речь. И свои тайные собрания по четвергам и субботам. Но у заново народившихся кружков — одно существенное отличие от кружков прошлого века: московские круги шестидесятых напоминали тайную организацию, а речь, складывающаяся из разговоров в этих кружках, была похожа на шифровку. Это и возвращает нас к прозе П. Улитина и к эмиграции — внутренней и внешней. Чтобы понять и принять литературу, возникшую на речи в кругах шестидесятых годов, надо понять и принять наличие шифрованности в отношениях в те годы. Невьясненность тайны и загадки, объединяющие одной судьбой двух людей в разговоре, превратилась в секретность и хорошо охраняемую привилегию встречи людей, объединенных одной тюрьмой. В такой ситуации ничего нельзя сказать открыто: нельзя употреблять имен, нельзя впрямую рассказывать прошедшие события, и характеры новых героев неоднозначны: каждый ведет себя и говорит одно на публике и другое в четырех стенах интимного разговора.

## 11

"В нашем кругу таких слов не употребляют. В нашем кругу таких поступков себе не позволяют". Такое можно услышать в нашем кругу. Не важно, какие слова и какие поступки. Главное, что мы — кучка избранных, заклятых друзей, а вокруг нас вьюга советского хамства, единственная защита от которого — стены разговора, понятного только нам, только людям нашего круга. Так, за четырьмя стенами квартиры, где мы собираемся по четвергам, ревет советская феня, варварский язык завоевателей иностранцев; их можно называть, в зависимости от вкуса к философии и религии, варягами, греками, марксистами или евреями, народом или государством; но феня их чужда четверганистам, говорящим четвергазмами. В разговорах на четвергах могут просачиваться советизмы — но лишь те, что недоступны переводу на язык нашего круга. Мы читаем газету "Правда" между строк, как иностранный плохо усвоенный язык: по употреблению слова в контексте стараемся угадать его словарное значение.

Такое состояние ума называется "внутренней эмиграцией". Но этого ярлыка не может избежать ни один российский круг близких по духу или по телу людей, будь-то кружок западников или славянофилов, партийных работников или демдвижников: все они одинаково далеки от народа, и под этим нужно понимать чуждость речи конкретного круга (традиционно закрытого) так называемой общепринятой речи, в наше время — советской. Она, эта общепринятая речь, всегда воспринимается как враждебная, как иностранная, лишенная той интимности, которой наделена речь близких людей одного круга, той интимной тайны, которая и есть горячее, зажигающее мотор закрытого разговора. Выходя за четыре стены той квартиры, где происходят четверги, очередной Четверган переходит на советскую официальную феню, стараясь проташить в нее свой жаргон, свои четвергазмы, переводя "наш" язык на "их" иностранный. "Они" — иностранцы, "мы" — свои исконные русские люди.

Но вот мы оказались настоящими эмигрантами, а не внутренними, мы вывернули себя наизнанку в эмигрантскую жизнь, показали свое эмигрантское нутро и оказались иностранцами, заброшенными на парашюте отъезда на чужую территорию, к туземцам, которые лопочут на своем непонятном нам языке. И, оглянувшись, мы снова обнаружили себя за железным занавесом, по другую сторону, когда Россия — она "за шеломенем еси". Точнее, что железный занавес, щит-шеломень, переместился и отделяет теперь не только порог нашей квартиры, когда он отождествлялся с железными воротами КГБ советской речи; теперь железный занавес переместился на государственные границы и наглухо задвинул засовы русской речи вообще. То есть, если сидя в своем закрытом кругу, мы привыкли относиться к советской речи как к иностранной, считая своей родной — речь своего круга, то теперь в подтексте оказался весь русский язык целиком, а сами

мы, его носители, тоже каким-то образом нигде — ни здесь, ни там, в подтексте. Если раньше мы вылавливали в официальной советской печати намеки на судьбы и приговоры нашего закрытого круга, то теперь, раскрывая газету на другом языке, мы рыскаем по дебрям чужого языка и, когда встречаем любое упоминание российской куролесицы, наши глаза вспыхивают светом зияющих высот. Совершенно неважно, что упомянуто: советское завоевание космоса или арест знакомого нашего знакомого инакомыслящего, фотография Лубянки или улицы, где жил сам, разрядка, олимпийская зарядка, закидывание выездных виз на дальние расстояния или прекращение гонки вооруженных. Все, что проглядывает сквозь щели железного занавеса, становится одинаково важным, без разбора. Для нас, соглядатаев оставленной жизни, характерна неразборчивость. Раньше были важны лишь разговоры своего круга, теперь они разрослись во весь Советский Союз, от края и до края, от моря и до моря. Советский солдат-оккупант под портретом первого секретаря политбюро стал столь же родным, как и глаза друга.

#### 14

Точнее, это так для тех, для кого это так. Безобразность эмигрантских споров, ссор и полемики состоит в том, что те из эмигрантов, кто продолжают считать себя русскими гражданами, несмотря на паспортную приписанность к другим странам и континентам, начинают выступать не от имени своего круга, принадлежность к которому "там" и означала быть "русским", но от всей России сразу, от имени и по поручению. Прекрасная запутанность личных ссор обрушилась в загадочный скандал: оливы здесь — осины там. Но принадлежность к своему кругу избранных по отпечатку гораздо глубже, и вот люди, говоря за всю Россию от имени и по поручению неизвестно кого, имеют в действительности в виду позицию своего круга, что и здесь проявляется в неприязни к посланникам других кругов; но только разгром этих враждебных группировок идет уже от имени всей России, и личные враги тут же вырастают в статус "врагов народа".

Россия, Москва, народ и правительство — все, что было жизнью лишь разговора своего круга там, превратилось здесь в символ веры, и разговор в эмиграции принимает инквизиционный характер, когда к осуждению взглядов противника приплетается неприязнь к выражению его глаз: ведь он не свой, не наш, из другого круга, где у всех носы загнутые (или курносые); но раньше мы от курносых носы воротили и только; а теперь, оказавшись в одном газу и пустившись по морю в грозу, мы должны осуждать их от имени и по поручению всей "нашей" России, поскольку они себя тоже отождествляют со всей "их" Россией: ведь и у тех и у других за железным занавесом общая география. Такой разговор не сулит продолжения, это мертвый конец, и в этом, пожалуй, главное оправдание моей пораженческой позиции. Моя же пораженческая позиция состоит в том, что мы для России — потеряны; мы стали полноправными представителями того самого гнивающего Запада, и даже если что-то издаем по-русски, мы ничем не отличаемся от британца из Турции, пишущего по-турецки, или француза из Марокко, продающего апельсины: он ничего другого не умеет делать, хотя столь же горячо переживает за своих турецких или марокканских бывших сограждан в бананово-лимонном Сингапуре. То, что мы говорим по-русски и пишем по-русски, поскольку на другом не обучены, не лишает абсурдности ставшие столь популярными призывы к западной мировой общественности со стороны русских эмигрантов, живущих, между прочим, по западную сторону от железного занавеса: "Когда наши танки вступят на нашу территорию, не говорите, что мы нас не предупреждали". Так может выразиться только человек, который страдает раздвоением личности: от имени себя здешнего по поручению себя тамошнего. Только себя тамошнего он отождествил со всей Россией, а себя здешнего воображает чужаком и непонятым одиночкой, несущим на своем эмигрантском горбу всю Россию. Но на самом деле он несет лишь самого себя.

В гостиных свободного мира, от Нью-Йорка до Иерусалима, сидят мрачноватые молчаливые скептики и на светский вопрос "а правда ли в России нет свободы слова?" начинают горячо размахивать руками, подкрепляя ломаную речь красноречивыми жестами, чтобы изложить свою обрезанную отъездом жизнь на другом языке. Они уехали в виду отсутствия свободы слова и потеряли эту свободу слова физически: в виду невозможности изложить на чужом языке свою проникновенную мысль об отсутствии свободы слова в родной речи. Другая жизнь — это всегда иностранный язык, и этот язык надо учить, угадывая в нем родную речь, как в обратном переводе: учить хотя бы на том уровне, чтобы ввести в свой обиход новые русские слова о других лицах, улицах, событиях. Так развлекался Набоков, вначале транскрибируя любимые русские стихи английским алфавитом, а потом догадался, что в его благодарности отчизне "за злую даль" уже скрыта идея нимфетки Лолиты.

Чувство изгнанника, добровольного или вынужденного — тема классической поэзии, которая по Ломоносову есть сближение далековатостей. Для того, чтобы угадать эту близость далековатостей, надо уметь исказить свою собственную мысль, чтобы приноровиться, открыть для себя нового собеседника, новые слова, новый язык, новую речь. Разговор, как мысль изреченная, есть ложь, обман: для продолжения разговора надо придумывать себя нового, и соглашаться, рядом сидя, и ласково в глаза смотреть — не для того, чтоб не обидеть, а для того, чтоб уцелеть в разговоре. Внимательно углядывать в новой жизни собственное прошлое и приписывать его собственному будущему, превращая свою жизнь в словарь иностранно-русского языка. Не надо дорожить архивом, над рукописями трястись. И эти пастернаковские слова надо понимать в том смысле, что архив должен быть в постоянном движении, подстраиваясь под сегодняшний день.

В эмиграции нет литературы, потому что она не желает стать эмигрантской, раз и навсегда осознав, что мы уже однажды обогнали собственную смерть. Наш собственный труп, кожу, из которой мы вывернулись, перепрыгнув от толчка или с разбега через железный занавес, ужасно раздувать до размеров всей России, чтобы затем бить этим пузырем по лицу своих противников. Мы унесли и протащили через железные ворота лишь то, что удалось утаить от властей, от разлуки, от чужбины, и именно это, как и родной, теперь второй, язык, у нас теперь не отнимешь никакими силами: это личное дело каждого, и ее кредо можно понять в новом разговоре, и это и только это выяснение достойно споров. И именно это и есть настоящая память, и в отличие от памяти архивной эта память, слава Богу, агрессивна, устремлена вперед, она ищет продолжения, глядясь в настоящее, как в зеркало.

18

Узнавание забытого через незнакомое естественно, как вдох и выдох. По всем столицам мира ходят под ручку эмигранты, и между ними происходит один и тот же обмен репликами: "По-моему, на Ленинград похоже", говорит бывший ленинградец. "А по-моему, ну прямо Москва", говорит бывший москвич. "Да какая же это Москва, когда прямые проспекты", возражает ленинградец. "Да, может быть, но в Ленинграде нет таких китаевидных башенок", не сдастся москвич. А разговор этот происходит на улицах какого-нибудь Харбина. Ни один из них не отдает себе отчета в том, что каждый видит в незнакомом городе те улицы и дома, которые были заучены наизусть жизнью, а потом ушли в подвалы памяти. Но диалог этот доказывает и то, что не такие уж они особенные, наши родные города: они лишь, как любимые стихи, заученные наизусть, лезут на язык при каждом удобном случае. И то, что новые встречи напоминают о старых лицах, в этом и доброта этого мира, в этом и единственная надежда на продолжение старого разговора, от которого мы бежали, размахивая белым флагом эмигранта и чужеземца.

В одной английской пьесе под названием "Прежняя родина" главный герой, один из четверки лучших людей Англии, записавшихся из соображений духовного протеста в советские шпионы и бежавших в Москву, сидит на подмосковной даче с охраной вокруг забора и разговаривает про прежнюю родину с родственником из британского министерства иностранных дел: родственник приехал уговаривать героя вернуться на родину: "Ну, отсидишь, зато напишешь потрясающие мемуары, тебя простят". На провокационный вопрос родственника, как герою живется с его новыми коллегами, герой отвечает:

"Жизнь члена партии похожа на существование шампиньона: сидишь в темноте, и периодически на тебя выливают ведро дерьма".

Родственник сначала хочет записать остроумный анекдот в свою записную книжку, но, раскрыв записную книжку на соответствующей странице, обнаруживает, что афоризм не нов:

"Но ведь это старый английский анекдот про сотрудников Би-Би-Си!"

"Вот именно!" — усмехается герой.

Старый опытный шпион знает, что нужно вспоминать старые слова, играющие в новых обстоятельствах, и старыми обстоятельствами проверять новые слова. В этом и состоит продолжение старого разговора. В новом фарсе опытный шпион углядел старый анекдот. Он оглядел новое помещение, и вдруг в новых лицах углядел знакомые гримасы — как в том, другом доме на улицах прежней родины, когда один усмехнулся, другой брезгливо сморщился, а третий встал и хлопнул дверью; и именно эти изломанные и лживые жесты напомнили старые слова. Мы, шпионы на службе у нашего прошлого, рыскаем по разговорам на иностранном языке, пытаюсь углядеть в них скверный анекдот нашей прежней жизни. В Москве мы искали антисоветский подтекст в "Правде", теперь

нам надо искать нашу правду в известиях на другом языке. Проборматывать про себя наизусть старые слова, пока вновь не поравняешься в толкучке другого языка с их предельно точным переводом; короткий обмен репликами, и вновь надо хранить старый анекдот про себя. Идет продолжение старого разговора.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

П. Улитин

### СОБАКА ТРИЖДЫ ГЕРОЯ

#### 1

Сам же научил на свою голову. Сам же приучил к такому отношению к себе. Вдруг стало обидно. Как жаль, что передача письма не имела продолжения. Я помню, что меня остановило в первый раз. Смешные детали. И об этом не раз потом подумал. Как жаль, что я, встретив ее в библиотеке, не поговорил, но о чем бы мы с ней говорили? Она отошла от литературного творчества. Так это теперь называется. Чего я ищу? Чего я ищу? С таким остервенением повторялся один и тот же вопрос. Он будет описывать, ты приготовься. Я приготовился. Но для меня же действительны совсем другие картины. Но я же помню совсем других людей. Ни меня ни тебя там нет. Как славно! Я взял лопату и пошел на скотный двор копать червей. Солнце припекало спину сквозь рубашку. Я хочу сидеть на берегу и слушать плескание волн. Слова из этой книги скользили мимо. Я думал, что обнаженный меч; я думал: сила слова! — а оказалось — беспомощность. Такая ерунда, что дальше некуда. Но вы же так мало с нами были. Помню свое недоумение после чтения дневника одной девушки. Я же ведь был тут все время, а читая написанное, можно подумать, меня не было. Эти "Яшка", "Жорка", "Сенька" ничего не говорят. А прибавилось бы тебе от чтения рукописного варианта с настоящими именами, когда ты не знал никого из них? Все равно было читать интересно. Все равно читать было интересно. Милая моя маленькая трепещущая душа, как мало ты значила в мире, который

---

Глава из книги "Разговор о рыбе" (1967) печатается без согласования с автором.

мыслил другими категориями. Я хочу опять уйти в первую комнату. А на глаза постоянно лезет напоминание о второй комнате. Я с вами. Я с вами. Вы, которых никто не помнит, я с вами.

## 2

Наш интерес к тому, что мы помним, и насколько это помогает жить. Вот и все. Не знаю, нужна ли сложность. Хуже другое. Вдруг возникает вопрос: нужна ли правда? Эта же книжка в зеленом переплете. Что поражает потом, так это жуткая беспомощность. Я хотел сделать подарок, а подарка не получилось. Я хотел написать рассказ, а получилось письмо без адреса. Ну, тогда это одно и то же. Я хотел написать письмо в один адрес, а получилось литературное упражнение. Ну сила, ну сдохнуть от голоса, который не выбросить из головы. Все равно, я читал ли слова с интонациями знакомого мне человека. Перед лицом чистилища такой пасквиль на милый образ уже не имеет значения. Задел, затронул и исчез. Не надо исчезать. Он мне с готовностью хотел подsunуть Зайдлера. Я уважаю Коркешкина. Я помню его упругую походку. Вот только Бродов не помнит Бродера, а Бродер не запомнил Б родов а. Так же как и я не запомнил имя той девушки, которая пострадала от меня на катке. Странно, что интереснее всего было бы поговорить с теми, с кем ты не был знаком и чьих имен ты не помнишь. Ч-ч-черт, все время лезет на глаза тот досчатый переход, по которому мы спешили по утрам к трамвайной остановке возле рынка. Как это похоже на выдающиеся успехи, которые ничего не принесли в реальной жизни. Вот опять немецкая рота на марше, и девчонка подставляет губы. Опять сверкнула нога из-под юбки, и я дрожу от страха при звуках первых падающих бомб. Что делать в таких случаях? Никто не подумал доставить тебе такую радость. А ты заметила, что всякий раз твой шаг навстречу встречал тайное сопротивление. Как это похоже.

## 3

Тебе некогда читать хорошие книги, тебе надо писать свои — плохие. Вам, конечно, а не тебе. Удивительная способность — выбрасывать из головы или просто забывать. Иначе было бы невозможно вообще. Тут вся надежда на тебя. Что-то не то совершенно. Взять что-нибудь совершенно не похожее, взять совсем чужое. А тогда это будет одно и то же. Что может быть отдаленнее чужого персонажа на чужом языке? Специалист по заковыристым вопросам, так что ли? Дух отрицанья, дух сомненья. Ей хотелось что-то сказать в упрек, поперек, в отрицание отрицания. Отрицание тоже вызывает негативную реакцию. Но интерес к Альберу Камю глубже, разумеется. И тот, кто читал вслух, и тот, кто слушал, и тот, что читал про себя,

— если это три человека, то у них три точки зрения. Неужели так мало? Неужели так мало? Вот будет обидно, если все это — только перевод. Он кончил роман про фараона, теперь будет писать про Аспазию. Господи. Так и вижу опять его закатившиеся глаза, когда он сидел в актовом зале, держал в руках записную книжку, задумывался, потом что-то быстро строчил в записную книжку. Много ты вычитал из Эразма Роттердамского? Прочел стихи еще одного великого европейского поэта в русском переводе и еще раз ужаснулся ощущению пустоты. Ничего не понимаю в том, что они понимают, или они ничего не понимают. Нужно сделать один решительный вывод, и тогда все будет понятно. С серьезным видом знатока хранить молчанье в важном споре. Меня обеспокоило другое. То, что я читал монологи из "Портрета Дориана Грея" с интонациями Никиты Бескина.

#### 4

Потом вдруг слова прорываются, и пошло, и пошло, и человек сидит и строчит. Но до этого-то человек просиживает часами перед листом белой бумаги. Сидит и смотрит на лист чистой бумаги. И если это никак, тогда уж я не знаю, что и как. Что же сделал ты за пакость, ты убийца и злодей? Бог правду видит, да не скоро скажет. Гвалт приехал и привез новости. А надрываться не надо было. А все остальное можно было и не писать. Меня беспокоит другое. Кто мне испортил невинные забавы и скромные радости за латинской машинкой? Кто настроил против тихих радостей переплетного мастерства? Кто отбил охоту печатать на машинке? Синусоида начинает прыгать. Синусоида делает бешеные скачки. В ужас придешь от такой синусоиды. Точно так же как никому дела нет до твоих забот и огорчений. А я хочу, чтобы меня кусали комары. Я помню нежность ваших плеч. Черт меня толкнул завести такой разговор. Вот уж не было печали. Вода лилась, лилась вода. Я теперь знаю, какая картина меня будет сопровождать при звуке льющейся воды. Как имя Эльзы Триоле. Но высота обязывает. Но низость тоже накладывает свои обязательства. Во что и упирается благородство вашего ремесла. Он слишком был смешон для ремесла такого. Друзья ушли в князья. Надеюсь, теперь ты не будешь смеяться? Надеюсь, теперь тебе не будет смешно? Сталин послал специального человека в Камышин. Этот человеком был я. Помню. Помню и труп, прикрытый простыней.

#### 5

Декоративный эффект велик, не отрицаю. Но разве у вас среди знакомых не было ни одного человека, который бы вам,

прочитав надпись по-английски, посоветовал бы вам держать эту изящную вещь под кроватью?

Звенит опять Звенигород.

Я не знал, что себе дороже. У вас нет желания мне что-нибудь высказать? И этого делать не надо. И точка с запятой ни к чему. Мне грустно на тебя смотреть, Странная Жадность.

В том смысле, что у меня нет никакой основы экономической. Я понял. Я понял. Ой, господи, ну конечно же в 5!

Туристы обнищали, приехав из-за границ. Они теперь, приехав из Италии, будут разговаривать только через "Неделю", "Известия" и ТАК ДАЛЕЕ.

СМЕРТЬ ГЕРОЯ даже по-русски им ни к чему. Два месяца лежала книга, и хоть бы один человек хоть бы один раз приоткрылся. Никто и не раскрывал. Никто и не брал в руки. Мало того. На самом видном месте лежит

ГОСПОДИ БОЖЕ МОЙ  
СМАЗОЧНОЕ МАСЛО  
ВИНТЫ И ГАЙКИ - 67

посетите выставку сыновей великих пролетарских полководцев 60-х годов 20-го века. Уберите этот красивый флакон: это жидкость от клопов, блох и тараканов.

## 6

Он ловит рыбу удочкой с вертолета на персональном озере. Об этом спросите у Рослякова.

Every morning I would sit down before a blank sheet of paper. Throughout the day, with a brief interval for lunch, I would stare at the blank sheet. Often when evening came it was still empty. And it seemed quite likely that the whole of my life might be consumed in looking at that blank sheet of paper. The deadlock was overcome and the work finished in the end, but my intellect never quite recovered from the strain. I have been ever since definitely less capable of dealing with difficult abstractions than I was before. Adorable, impossible genius is overworking his present staff and needs another assistant who will be prepared to dedicate herself to the fascinating world of art and antiques. Secretarial qualifications useful but resilience and sense of humour essential. I had not finished when His Excellency interrupted me. I begin to doubt whether you ever will finish, my friend. You are extremely fond of hearing yourself talk. True; but since you have endured so much, you may as well endure to the end.

На этом сейчас он крупно горит. Этот процесс начался не вчера и будет продолжаться, вы еще увидите. Но чтобы до такой степени! Он дурак, что кому-то говорит такие вещи. Она уйдет от него при первом же намеке, как только узнает. А я сделал вид.

Not only EN FAUTE DE MIEUX but a greatest particle of our past and our school and influence and hope. Yes. Never mind the compulsory character of the beginning.

They mistook us for You-Know-Whom or at least for I-can't-mention-it's-even-worse. Strange people they are. Strange, I mean. Not very funny, in deed.

*Сидеть и раз-  
-дирать страницы собств. книги.*

ФИЕСТА с 5 до 7, и на этом он крупно горит. Но я хочу дружить с человеком, а не с домом. Друг дома? Кроме того, дома не видно человека. Человек перестает быть человеком у себя дома, нет? Он хочет отдохнуть, нет? Но у себя дома он самый неинтересный человек, которого только можно себе придумать. Но у себя дома она только тем и занимается, что капризничает.

Плантаторша-модерн перестала тосковать по зимнему пейзажу. Я спутал два сюжета: стрельбу и собаку. Кроме того, почемуто оказалось ДВЕ СОБАКИ. Как будто трижды герой — не он и доктор наук — тоже НЕ ОН. Особой чистоты никто и не ждал от травы забвения, но все-таки. Кому позволяют распоясываться? Осип Колычев. Но он не умеет распоясываться. Оба хороши.

Б. Жутовский опять — жуткое дело. А какие были колготки? Какого цвета? Зеленые. Ну тогда это неинтересно. Теперь в моде красные. А где был хозяин дома? Тут же. То-то, я смотрю, он на меня иначе стал смотреть. И это будет продолжаться. Чепуха какая-то. Если бы этим все кончилось. Может, ты его возьмешь на снабжение? В том смысле, что уж я тут как-нибудь попользуюсь. Поэт от стихов переходит к прозе — тут все, но я знаю только одного поэта, у которого это хорошо получилось. "Шут в лесу" — такая поэма: в ней заложен метод, но дело не в методе. Дело в том, что он любил этого человека и дорожил памятью о нем и все время сожалел: лучше б я погиб, чем он.

3. Паперный за 27 копеек. У вас есть? Такая "публицистика" у Лескова где-то в 6 томе. Я их отшил. И вопрос - кто кого? — не ставится. Вот как это называется: медленная пытка заболевания, гниения и разложения — судьба большинства людей. А для счастливых, а для немногих, а для избранных и только для избранных - мгновенная смерть.

MAY DAY  
ПРОСТО СОБАКА  
may I mention?

Ничего лучше не мог придумать. Чем-то отличается "Цикута" от всего остального. Но чем, но чем? Вот для этого и существует КФ. ФК тут не поможет, наоборот. Еще раз три буквы начертал он на щите — ФМД чужою кровью. Аглая промолчала. А кого же еще и обманывать, как не Аглаю. А она его огненная поклонница. Вот ты всегда споришь до хрипоты, потрясаясь своими записными книжками, а нужно только доверять моей памяти. А кое-что помню. У меня кое-какая память, и уж если я помню, так Я ПОМНЮ. Не надо у меня отнимать тех немногих достоинств, которыми я все-таки обладаю. Длинно, нудно и неинтересно по-русски, а по-английски всего три слова. GOD IS SPIRIT AND IN THE SAME SPIRIT IF I MAY MENTION THE НАКАЗАНИЕ то же самое: UNMENTIONABLE. Казнить неупоминанием. Голос Алены Старицы все равно перекрывает голос поэта Мандельштама. Я научила женщин говорить, но как их замолчать заставить? Опять потерял цикуту. Чертов порядок в чертовом хозяйстве. Но откуда берется легенда о меньшей нетерпимости, вот что я хотел бы знать. Откуда?

Александр Янов

## ОТЧЕГО МЫ МОЛЧИМ?

Открытое письмо будущим оппонентам

*...возьмемся за руки, друзья,  
чтоб не пропасть поодиночке.*

*Булат Окуджава*

В № 15 мюнхенского журнала "Голос Зарубежья" опубликована статья Доры Штурман. Вполне аккуратная статья, сказал бы я, если бы не одно странное обстоятельство. Ссылаясь на источники, Штурман, конечно, указывает авторов, которых она цитирует. Во всех случаях — кроме одного (серия статей "Тревоги Смоленщины" в ЛГ). Может быть, я и не заметил бы странности этого обстоятельства, если бы имя, которое опущено в тексте, не было моим собственным. Что это — цензура или самоцензура? Неужто мы опять начинаем играть в старые советские игры?

"Голос Зарубежья" — во всяком случае в смысле уровня своей прозы и качества своих полемических приемов — нисколько не отличается от "Московской правды". Зачем уважающему себя писателю адаптироваться к этому уровню, принимая вполне советскую по духу цензуру? Неужели не сыты мы всем этим по горло? Неужели не от этого мы уехали? Привезли же мы все-таки с собою известный запас порядочности, вкуса и брезгливости — наше единственное богатство. Что случилось с нами здесь? Почему нам не стыдно?

Если бы, скажем, Б. Парамонова озолотили в Ленин-

граде, разве согласился бы он писать "проработочные" статьи в "Ленинградской правде"? Думаю, что нет. И даже знаю, почему нет. Не только из страха стать "нерукопожабельным", но и из-за обыкновенного человеческого стыда. А здесь он пишет их в "Континенте". Разве соблазнился бы М. Агурский "прорабатывать" кого бы то ни было в "Московской правде"? А теперь "прорабатывает" в "Новом журнале". Да разве сущность, уровень, язык изменились во всех этих "Правдах" — оттого, что они заграничные? Разве они не зеркальное отражение "Московской правды"? Только знак изменился. Тот же экстремизм, только навыворот. Та же нищета философии, та же аргументация ad hominem, тот же инструмент спора — клевета, та же ориентация не на понимание оппонента, а на его уничтожение. Почему же не видим мы очевидного?

Может быть, это шок эмиграции? Может, конфуз? А может, просто не все привезли оттуда необходимый запас порядочности, вкуса и брезгливости? Честно скажу, не знаю. И наверное поэтому не могу избавиться от чувства мучительного стыда за своих оппонентов.

Вот в том же № 15 "Мюнхенской правды", виноват, "Голоса Зарубежья", где статья Штурман, в обзоре В. Рудинского сказано следующее: "Отличный анализ Б. Парамонова "Парадоксы и комплексы А. Янова" вздрызг расширяет (давно пора!) воздвигнутые на недобросовестных передержках и беспардонных вымыслах построения этого злого врага русского народа, делающего себе карьеру в Америке на неспособности Запада различать между Россией и большевизмом" (стр. 29). Я никогда не спорю с такими людьми, как Рудинский. Оппонентами их не считаю. Я глубоко сожалею о них. Каждый, кому случалось в Москве встречать одеревеневших старых большевиков, престарелых "комсомольцев 20-го года", которые посреди голодной и отчаявшейся страны продолжают вещать об изобилии и счастье строить коммунизм, помнит, что переубедить их нельзя. Они не знают фактов и не хотят их знать. Они не слышат аргументов, а услышав, не понимают. Инакомыслие вызывает в них лишь потребность "расшибить вздрызг". И чем упорнее инакомыслящий будет настаивать на своем праве мыслить инако, тем очевиднее мысли его

будут представляться старому большевику "беспардонными вымыслами", а факты — "недобросовестными переделками злого врага советского (в мюнхенском варианте: русского) народа". В точности то же самое происходит, как видим, и с его зеркальным отражением за границей, В. Рудинским. В отличие, например, от Раисы Лерт, у него нет ни интеллектуальных ресурсов, ни человеческого мужества посмотреть в лицо реальности. Для этого нужно быть большим человеком. Рудинский — маленький человек. И Бог с ним. Проблема в другом — он представляет собою *тип* заграничного комсомольца 20-го года. Мы не стали бы сотрудничать с такими типами в России. Там мы сочли бы постыдным для себя, если бы они самодовольно ссылались на нас для подкрепления своей дремучей философии. А здесь? Почему мы здесь этого не стыдимся?

Не стоило бы и упоминать этого странного слияния душ заграничного старого большевика с бывшим инакомыслящим, если бы у нас на глазах оно не становилось правилом. Вот, пожалуйста, двойник Рудинского, С. Рафальский пишет в юбилейном номере НРС: "Янова по всем швам и на все корки разделяет в № 137 "Нового журнала" М. Агурский и разделяет так, что прибавить решительно нечего ("Литератора Янова нет, а есть безликий услужающий пропагандист")".

Похоже, что действительно не все привезли с собою запас порядочности, вкуса и брезгливости. Похоже, что некоторые не писали там "проработочных" статей в московских и других "правдах" и не сотрудничали со старыми большевиками только из-за их знака, а вовсе не из-за имманентно присущей им советской нетерпимости и интеллектуальной импотенции. Похоже, что складывается коалиция заграничных старых большевиков с некоторыми бывшими инакомыслящими — новый союз против инакомыслия.

Я согласен рассматривать свой собственный случай (кажется, наиболее острый сегодня) в качестве эксперимента. Мне представляется, что если просто перечислить всех, кто попытался "расшибить меня вдрызг" и "разделить по всем швам и на все корки" за эти пять лет в изгнании, мы увидим эту новую коалицию воочию. "Посев" (А. Столыпин, А. Солженицын, Д. Пospelовский, Е. Вагин), "Со-

временник" (А. Дружинин), "Вестник РХД" (М. Бернштам, А. Солженицын), "Голос Зарубежья" (А. Михайловский, В. Рудинский), "Русское возрождение" (А. Солженицын, Д. Дэнлоп), "Континент" (Б. Парамонов), НРС (С. Женук, В. Соколов, С. Рафальский), "Новый журнал" (М. Агурский), "Русская жизнь" (Е. Вагин). А вот лишь несколько имен моих московских "расшибателей" и "разносителей": В. Идашкин ("Октябрь"), М. Лобанов ("Молодая гвардия"), В. Чапчახов и М. Синельников (ЛГ), В. Хмара ("Литературное обозрение"). Местные с/б (мы будем пользоваться этой аббревиатурой для обозначения старых большевиков) могут и не знать, что означают эти имена. Но людям из литературного мира, приехавшим недавно, они должны кое-что говорить.

Главное, однако, что делает каждую из этих групп зеркальным отражением другой, это упомянутая уже идентичность их полемических приемов. Даже прямых доносов — и тех не гнушаются инакомыслящие-расстриги в своем крестовом походе против инакомыслия: "Что-то уж никак не похожа на изгнание поездка Янова в США с целью защиты "здоровых сил" (в советском руководстве) . . . Похоже на то, что Янов оказывается лобби какой-то группы советского руководства (по-видимому, т.н. "днепропетровской группы"!)." ("Новый журнал", № 137, стр. 178, 173). Так сказать, его, Агурского, гражданский долг — "стукнуть", а выводы пусть делают те, кому ведать надлежит. Чего же удивительного, если восхитила такая бдительность заграничного с/б Рафальского точно так же, как бдительность Чапчახова (обвинившего меня в проповеди чуждых советской действительности идей) согрела в свое время сердца советских с/б?

Что сказать мне на это? Может, просто не везет мне на оппонентов? Но ведь это не так. Я мог бы перечислить десятки умных, тонких, интеллигентных, порядочных людей, которые сделали мне честь, не согласившись и полемизируя со мной в Москве — и в "Вопросах литературы", и в "Искусстве кино", и в той же ЛГ. И я, увы, могу назвать только одного-единственного такого человека здесь, в российской диаспоре (Нафтали Прат в журнале "22"). Вот на эту чудовищную диспропорцию я и хочу обратить внимание

читателя. Ибо в ней, по-моему, суть дела. Из-за нее, собственно, и пишу это письмо.

Вот лишь один пример. Тот же Агурский пишет рецензию на одну из моих книг, которую он совершенно очевидно не читал (о существовании других он даже не подозревает), и говорит, что опубликована она "с целью в первую очередь заклеить Солженицына, назвав его чуть ли не лидером русского фашизма" (там же, стр. 177). А вот Соколов посвящает несколько абзацев "нелепым и злобным, а порой просто подлым высказываниям Янова, для которого, например, Солженицын — "почти агент КГБ" (НРС, 30 авг. 1979). Так и пишет — в кавычках, словно бы принадлежит это высказывание не ему, Соколову, а мне. Речь идет об одной и той же книге, о "Русской Новой Правой". Так как же назвал я в ней Солженицына — "чуть ли не лидером русского фашизма" или "почти агентом КГБ"? А если кто-нибудь попросил бы их указать страницы, где написан такой откровенный вздор? Ведь оказалось бы, что они сами его придумали. На юридическом языке это называется клеветой. Но как называется это на человеческом языке? Не элементарной ли непорядочностью? Вот тут как раз и подходим мы к существу дела. Ибо *некому* оказалось попросить этих разносителей и расшибателей положить на стол факты.

Иначе говоря, дело совсем не в том, что здесь, в диаспоре, сложилась коалиция дремучих заграничных с/б и наших расстриг-инакомыслящих, так быстро превратившихся из еретиков в инквизиторов, из гонимых — в охотников за ведьмами. Это, вероятно, естественно. Подобное притягивается подобным. Дело в том, что здесь не сложился моральный климат, делающий очевидной непристойность их поведения. Дело в том, что здесь оказалось возможно клеветать безнаказанно. Что здесь не стыдно продемонстрировать городу и миру свою нетерпимость и невежество, что здесь они не боятся стать "нерукопожабелными". И это представляется мне чудовищным.

Казалось бы, все должно быть наоборот. Как, в самом деле, могло случиться, что там, в России, посреди гнили и тоски брежневского режима, моральный климат — по крайней мере между интеллигентными людьми — здоровее,

нежели здесь, в диаспоре? Столько порядочных людей уехало из России. Такая первоклассная интеллектуальная сила, такая масса талантов. Почему же не они задают тон в дискуссиях о судьбах страны? Почему уступают они поле боя коалиции Рафальских с Агурскими?

Я знаю по себе, как гадко быть оклеветанным и оболганным. Друзья и читатели советуют мне в частных письмах: да не читайте вы эту пакость, делайте свое дело, собака лает, а караван идет. Я отвечаю им, что дело вовсе не в том, читаю ли я эти пакости. Дело в том, куда пойдет караван, если мы позволим расстригам монополизировать дискуссию о будущем страны. Конечно, противно отвечать людям, не гнушающимся доносом. Конечно, опасно бросать вызов этому размножившемуся в несчетных ипостасях гангстерскому синдикату. Конечно, спокойнее жить, не читая его продукцию. Это все я знаю. Но знаю я также, что так ведь и будут — клеветой и доносами, ярлыками и пакостями — "выводить нас из игры" поодиночке, пока мы будем молчагь, либо не желая запачкать манжеты, либо охраняя иллюзию "единства" с расстригами, либо робея перед авторитетами, либо воображая себя "над схваткой". Нас много, нас больше, чем мы думаем. Назову лишь нескольких, нет, не единомышленников — возможных оппонентов: Андрей Амальрик, Александр Пятигорский, Андрей Синявский, Борис Вайль, Игорь Голомшток, Александр Штротмас, Александр Зиновьев, Леонид Плющ, Рафаил Нудельман, Майя Каганская, Томас Венцлова, Наталья Рубинштейн, Наум Коржавин, Николай Боков, Дора Штурман, Илья Левин, да разве всех в одном письме назовешь?

Им пишу я это письмо. Не потому, что жалуясь, не потому, что устал. А потому, что, кажется, время расчистить поле для подлинного диалога. Потому что наш эмигрантский спор может стать ристалищем идей, а не антологией доносов, торжеством духа, а не скандала. "Отчего мы молчим? Неужели нам нечего сказать? Или неужели мы молчим оттого, что не смеем говорить?" 125 лет назад обратился с этими вопросами к соотечественникам Герцен. Не время ли вспомнить их снова?

Беркли, Калифорния, 5 мая 1980

# ЛИТЕРАТУРА

---

## И ИСКУССТВО

Григорий Померанц

### СНЫ ЗЕМЛИ

(Главы из книги)

#### 1. Из тех, которых

Ире всегда не везло. Когда мы сблизились, она мне сказала: имей в виду, что теперь всегда будет приходиться не тот троллейбус . . . Я не знаю, как это объяснить, но мы действительно долго стояли с ней на остановках, закури-вая „Беломор“, а мимо шли и шли не те номера.. .

В Ерцеве, в первый ее приезд, тоже пришел не тот номер — пьяный оперуполномоченный Оришев. Увидев на вахте непривычную фигуру, Оришев — может быть, не найдя в глазах женщины того, чего искал, — взял заявление, прочел резолюцию (три часа — они обычно растягивались в шесть и даже в целую ночь) ; сказал: ишь, расписались . . . Потом перечеркнул и написал: 30 минут. Ира, приехавшая к нам в Архангельскую область из Сибири, едва успела поговорить с мужем. Кажется, на следующий день ей дали еще полчаса. В промежутках, дожидаясь какого-то начальника, она подолгу сидела на вахте, в скромной, но не поздешнему выглядывшей шляпке, и курила папиросу за папиросой. Я не знал, что она привыкла к невезенью и как-то

научилась жить в потоке неудач, как другие в потоке удач; но что-то необычное в ней чувствовалось: и еле сдержанное возмущение, и какое-то внутреннее равновесие, глубже возмущения. Мы были немного знакомы по воле, и когда бригаду выводили, успели обменяться несколькими словами. Другие з/к з/к, друзья Виктора (ее мужа) \*, подходили к решетке ворот поздороваться. Самодурство Оришева, дерзость Ириных мнений, пересказанных Виктором, — очень располагали к ней. В течение двух дней на вахте присел дух хрупкого мужества (когда я думаю об Ире, мне всегда приходят в голову оксюмороны) . . .

Высокая, несколько бледная, с серо-голубыми глазами, Ира совершенно совпадала с тем идеальным образом, который Виктор рисовал, восхищенный ее поведением на следствии. Непонятно только было, почему он смущенно прибавлял, что она несколько синий чулок. Я не находил. Впоследствии примерно так же отозвалась о нем и она.

В 1949 г. на этом пыталось играть следствие. Ира называла следователя не иначе, как Порфирий Петрович. По-видимому, он был уцелевшим в провинции психологом ягодинской школы (в столице психологов перебили). Ему не столько нужно, сколько интересно было играть с Ирой в кошки-мышки. Главным козырем были письма Виктора к другой женщине. Ира прочла — и глядя в неповторимый почерк мужа, твердо сказала, что письма поддельные. Порфирий Петрович решил переждать. Он был уверен, что чувство оскорбленной гордости сработает (там было несколько обидных строк). Но пружина оказалась крепко зажатой другой, покрепче: их, в синих фуражках, ни за что не порадовать! Это засело крепко с 17 лет, когда арестовали брата, Владимира Игнатьевича, и очень кстати пришлось уроки английского языка с Екатериной Николаевной Македоновой, высказавшей Ире все, что ей перед смертью хотелось кричать на площадях (бывшая эсерка, Екатерина Николаевна в 20-е годы признала советскую власть; но в 1937 г. взяла свое признание назад). Английский язык Ира выучила потом; но уроков Екатерины Николаевны не забыла.

---

\* Так я его назвал в эссе "Пережитые абстракции", с которого начинается моя книжка (1972).

Примерно тогда же Ира встретила Митю Полячека. Он был из поколения ее старшего брата (разница с ней лет на 10) и кажется уже был прикован к постели, когда она его узнала. Погибла, исчезла вместе со всей семьей, девушка, которую он любил; а его не трогали, оставили в матрацной могиле. Ира запомнила его на всю жизнь, всего; стихи Мити она мне много раз повторяла. Митя был ее живым откровением; берегла в сердце каждое его слово, каждую черту.

То, что Митя передал Ире, не было положительной верой. Но он пламенно верил в господство духа над плотью, души над телом. И чем страшнее становилось время и мучительнее болезнь, от которой он умирал — тем сильнее был его дух (это видно по стихам, если сравнить ранние с поздними). В вере Мити не было заповедей, не было даже понятия греха, но был свет, в лучах которого черное было черным, и невозможно было выбрать черное и не выбрать свет. Была скорее эстетика поведения, чем этика. Эстетика стойкости, мужества, неспособности сделать низость (т.е. неспособности даже поставить вопрос: сделать ли низость?).

Опыт нескольких тысяч, даже десятков тысяч лет, копивших табу и заповеди, был тогда отвергнут не одним Митей. Катехизис не помешал революции, и революция его отменила. Оставалось — у кого оно было — непосредственное чувство духовной реальности. Оставались стихи, в которых говорило это чувство. Словно все начиналось сызнова, как в гимнах Вед. И заново, в белом накале чувства, личность сознавала свою глубину. В экстазе созерцания, когда "великое слово нет" сливалось с "великим словом да" "в одном нераздельном да" (слова из стихов Мити).

Из этой крепости внутренней жизни, обнесенной стеной стиха, Митя с неколебимой гордыней смотрел на свое время

миг единый,

Сознания больше всех иных веков,  
Наполненный волною муравьиной  
Безумных толп и злобой вожаков.

Вдохновителем его был Тютчев (Блажен, кто посетил сей мир. . .). Чем страшнее время, тем больше вызов духу, тем выше должен воспарить гордый дух:

... В душной тьме пронеслось роковое дыханье  
судьбы;  
Только б встретить ее с неопущенным взором, как  
равный,  
И пойти ей навстречу.. .

.....  
..... Расплата

Наступает за все, совершенное прежде людьми:  
За идеи великих, за подвиги сильных, за горечь  
Безмянных, бесчисленных, невыносимых обид. . .  
Крылья ритма — крылья духа — подымали над стра-  
хом. На такой высоте заповеди не были нужны. Я это хо-  
рошо понимал. Я тоже верил в волшебное слово.

В последний год жизни Иры мы стали составлять с  
ней псалтырь интеллигента — из стихов, больше других  
дававших чувство высоты. Начали с Тютчева, наложили в  
томики закладок. Они и сейчас лежат там, пожелтевшие.  
Без Иры я не захотел продолжать. А теперь, пожалуй, и  
нужда прошла. Русское развитие не идет путем бхакти  
(новые гимны — новая философия — новый обряд). Для  
неофитов православия, католичества или иудаизма стихи  
опять стали просто стихами, а поиски света улеглись в при-  
вычное русло, и опять разные вероисповедания, и та же  
гордыня вероисповедания... Пересматривая Тютчева, я  
нахожу, что иногда мы ошибались, еще недостаточно пони-  
мали границу подлинной духовной глубины. Но в чем-то  
мы были ближе к ней, чем нынешние неофиты: в своей от-  
крытости всякому слову, на котором легла печать духа.  
И в своей доверии только к слову, ставшему Богом, к  
слову, непосредственно врезавшемуся в сердце...

Это не только черта Иры. Это черта времени. Трудно  
понять, как серьезно наше поколение относилось к стиху.  
Ум был пленен, нам

.. . наука доказала,  
Что души не существует,  
Что печенка, кости, сало —  
Вот что душу образует.  
Есть лишь только сочлененья

И затем соединенья...  
Против доводов науки  
Невозможно устоять...

Но оставались стихи. И оставалась душа, как поэтическая вольность. В стихах святое не было смешным, и оставался духовный простор, в котором душа могла расправиться. Ира впитывала стихи с детства — стихи и сказки. Начиная с трех лет, когда она, стоя на стуле (чтобы быть на уровне публики) декламировала Мандельштама (научил старший брат или старшая сестра: на луне не растет ни одной былинки...), и до самой смерти. От этого ее иммунитет к казенной идеологии. То, чему учили в школе, было плохо написано. Никакие уроки не могли ее увлечь Павликом Морозовым. Двенадцати лет, на тему "любимый литературный герой", Ира написала о коте, который ходит сам по себе. И так — кошкой, которая ходит сама по себе, — прожила всю жизнь.

Ира могла часами читать наизусть поэтов серебряного века, Рильке — по-немецки, Верлена — по-французски... Начинаяшюся машинопись не любила (не успела привыкнуть; то, что не выучивалось сразу, или что боялась забыть, записывала в блокноты; у нее были, впрочем, в 1955 г. Воронежские тетради — одна из первых перепечаток).

В Ириных блокнотах вперемежку теснились Мандельштам и Цветаева, Олейников и Рильке. И особо, в двух тетрадках — стихи двух смолян, Д. Полячека и В.И. Муравьева, сохранившиеся только в ее памяти. Время от времени вспоминала еще какое-то стихотворение и дописывала. Об этих спасенных стихах еще надо будет рассказать. И я это сделаю, подготовив к печати архив Иры Муравьевой. А сейчас опять о том, что для всех нас значили стихи. Пусть меня извинит читатель за повторения. Я повторяю то, что неповторимо, что исчезло, как прошлогодний снег.

Стихи не отменяли научного мировоззрения; но они лишали его всеохватывающей силы, отодвигали в ограниченную область пространства и времени и раскрывали рядом дверь в какую-то неизмеримую глубину. Они не были системой; но мимо всяких систем с ними входило в жизнь

чувство тайны и вера в чудо. За три последние года жизни Иры я кое-как убедил ее, что можно попытаться свести концы с концами и превратить стихи в философию. Но ей это было ни к чему. Она предпочитала одновременно любить интеллектуальную иронию Рассела и Франса — и трепетать, читая "Заблудившийся трамвай":

. . . Наша свобода  
только оттуда бьющий свет. . .

А когда ее спрашивали о мировоззрении — отвечала со смехом (цитируя Ильфа и Петрова): эклектик, но к эклектизму относится отрицательно.

Тут было что-то глубоко личное, связанное с ее нежеланием называть все, что ее глубоко трогало, прозой. О любви, например, она говорила только какими-то междоуметиями ("так" — и сожжем руку); вообще была очень целомудренной в слове — черта удивительная при ее бурной жизни. Как-то она мне сказала, что *не знает* известных русских выражений. Я удивился и возразил: но ты же не могла их не слышать! — Да, отвечала Ира; но я сейчас же забываю. Она мгновенно забывала анекдоты, самые смешные, над которыми только что смеялась; зато стихи запоминала с одного-двух чтений. Сальное к ней как-то не прилипало. Уму этой женщины (трижды выходившей замуж и десятки раз нарушавшей седьмую заповедь) могли бы позавидовать монахи: у нее не было блудных помыслов. Я во всяком случае завидовал: мое сознание было глубоко отравлено веселой похабной дребеденью; с годами эта муть постепенно отсеивается, но до сих пор иногда всплывает. У Иры — не всплывало. При таком складе духа нежелание называть мистическое (или называть — только стихами) можно понять как инстинктивное отвращение к профанации, к возмущению тайных источников жизни. Но, мне кажется, это не только черта характера. Мы жили между подорванной научной идеологией и не восстановленной верой в Бога. Ира, при всей своей личной неповторимости, была сгустком времени, в которое она жила (1920-1959), живым противоречием к его основному потоку.

Чувство верности стиху (или шире: чувство поэтич-

ности) заменяло Ире мораль. У нее были свои, довольно странные, но очень твердые правила: "одну и ту же спичку два раза не зажигаю" (надо во-время разойтись с любовником — как только исчезнет романтическое отношение друг к другу — и никогда больше не допускать близости; хотя можно, и даже хорошо остаться друзьями). Блестящий лектор, она несколько раз увлекала студентов, но никогда этим не пользовалась. На кафедре она была в другом своем лице и, видимо инстинктивно, сохраняла от разрушения структуру личности. Брак считала учреждением безнравственным; расписавшись со мной, чтобы в случае ареста пускали на свидание, несколько раз спрашивала, не стал ли я ее меньше любить? Но в особенности ложной почитала всякую связь, в основе которой нет общего переживания стихов, музыки. Несколько раз говорила: один раз я доверилась человеку, не понимавшему стихов и музыки — и как была наказана!

В ее безумии была система, стихийная система сильной личности, которая расправляется широко и свободно под ветром, вырывающим с корнем или гнущим в три погибели людей послабее, терявшихся в пустоте, в беспочвенности. Иру срывало с места не раз, срывало жестоко, но она мгновенно пускала корни в новом месте. Как-то так всегда получалось, что всюду, куда ее переносила судьба, вокруг нее через год уже была целая рощица. В нашей комнатке (неполных 7 м<sup>2</sup>) всегда толпились друзья. Один раз целых 11 человек (сидели на полу, на подоконнике). И для каждого у Иры была улыбка. Когда она умерла, Леня Н. говорил мне, что ни разу не видел ее расстроенной, и приходил к нам, когда охватывала тоска, за улыбкой. Я знал, что Ира грустила (оснований для этого было достаточно) и боялась нависшей над ней смерти; но она отодвигала грусть в сторону, когда приходили дети или товарищи ее двух сыновей. Это не было принципом, долгом, заповедью. Это просто шло у нее изнутри. Если бы она веровала, я сказал бы: по благодати.

Как-то в Ире уживалось то, что Надежда Яковлевна Мандельштам, в своей второй книге, противопоставляет: вкус к наслаждениям жизни, к опьянению вина, стихов, влюбленности, музыки — и готовность все это поставить

на карту ради души. Если можно, — ускользала от мути (как от комсомола; в конце концов уехала из Ташкента, так и не получив в райкоме билета). Если нужно — рисковала головой.

Порфирий Петрович вызывал ее каждый вечер и держал до 3-4 часов ночи. Иногда не было ясно, подпишет ли пропуск на выход или задержит и отправит в камеру. Иногда просто держал на стуле: "Посидите, подумайте.. ." Ире не хотелось думать о том, что он ей подсказывает, и она воспользовалась привычкой в сумбуре, в шуме, на эвакуационных узлах — погружаться в стихи; вспоминала Верлена или Рильке в подлиннике и пыталась переводить на русский язык. Часто удавалось совершенно выключиться. В один такой раз Порфирий Петрович лукаво сказал: "А я знаю, о чем вы думаете!" Ира рассмеялась и ответила: "Вот уж не знаете!" Порфирий в сердцах возразил: "Счастье ваше, что ваша фамилия Муравьева!" Он был эстет и ему не хотелось портить хорошее космополитическое дело таким вздернутым носом.

В столице, в следственной части по особо важным делам, Виктор впоследствии оказался в одной камере с сионистом Ивановым. Потеряв несколько зубов, Иванов сознался (он отказывался уволить с работы свою любовницу-еврейку). Но Порфирий Петрович любил свое дело как искусство и не хотел испортить его грубым вульгарным ходом.

Вернувшись домой, Ира записала фразу, которая чуть не сорвалась с языка: "а я из тех, которых". Записала, пропустив пару слов, на случай обыска. Но потом она часто повторяла полностью: я из тех Муравьевых, *которых* вешают; как девиз со своего, пожалованного судьбою, герба; как ответ графу Муравьеву-Виленскому (племяннику Муравьева-Апостола: "Муравьевы делятся на тех, *которых* вешают, и на тех, *которые* вешают").

Вызывали ее тогда долго, месяца два подряд. Заснуть как следует, вернувшись на рассвете, трудно было. Бессонница выматывала. Ира жила на втором дыхании, заклинала себя стихами:

Будь стойким, товарищ! — и вперед взгляни.  
Черные, тревожные впереди дни.

Сказки и улыбки тебя не ждут, —  
Не дрогни, если друзья предадут.  
Не смей плакать, зубы сожми —  
Забудь, что где-то цветет жасмин.  
Не увидишь больше сына и мать,  
Полюбят тебя сума да тюрьма,  
Длинные дороги по чужой земле,  
Северный ветер и сухой хлеб,  
Спутниками будут ночь и снег,  
И нежность позволена только во сне.  
Но в душе осядет на самом дне  
Такое, чего у других нет.

И когда в одинокий полночный час  
Задрожит в испуге и погаснет свеча, —  
Ты в последней нахлынувшей темноте  
Подведешь спокойно итоги потерь,  
Улыбнешься, как равный, в лицо судьбе,  
Ляжешь — и руки начнут слабеть.'  
И скажешь, прежде чем утратить речь:  
— А все-таки игра стоила свеч!  
И душе твоей на суде в аду  
Настоящую цену за все дадут —  
За горькую любовь, за высокий гнев,  
От которых сердце в черном огне,  
За дружбу, которой не надо слов,  
За дюжины стихов жемчужный улов;  
И ей, при жизни прошедшей ад,  
Будет Бог свидетель и черт не брат,  
И бродить не спеша она будет в аду,  
Как в цветущем пламенем старом саду.

Ира никогда себя поэтом не считала и всего написала шесть стихотворений (почти все — в страшное лето 1949 года). И в этом, лучшем ее стихотворении есть неловкие строки. Чувствуется, например, атеистка, для которой Бог и черт остались только в поговорках; и другие есть неловкости. Но некоторые, лучшие строки, глубоко врезались мне в сердце. Особенно последние. Как будто прострелена насквозь душа и сквозь рану видна вечность. Может быть,

из-за этих строк я вечером, после похорон, вдруг — сквозь закрытые глаза (я лежал на тахте) — увидел Иру в языках пламени. Лицо ее было суровым, но совершенно не искажено болью (пламя не обжигало ее. Она сама была из этой стихии пламени). Ира мне что-то хотела сказать (слов не было слышно). Я открыл глаза, мгновенно подумал и, закрыв глаза снова, обещал полюбить ее младшего сына (у нас с ним были нелады). Мне показалось, что Ира улыбнулась. Потом видение расплылось. Мальчика я действительно полюбил.

Потом, читая "Мастера и Маргариту", я чувствовал какое-то неуловимое сходство между вечностью Мастера и вечностью Иры. Тот же покой в аду. Пламенный сад в царстве Воланда. Ручаюсь, что Ира романа Булгакова не читала.

Днем, когда отпускали со следствия, с ней бродил по окрестностям один из друзей. В обычное время Ире от него ничего другого, кроме дружбы, и не нужно было. Но сейчас нужно было больше. В какое-то утро она ему сказала: ненавижу твою добродетель... Тогда случилось то, что ей хотелось, и, может быть, эта соломинка помогла ей выплыть. Я рассказываю все (с ее слов) потому, что исправлять облик человека — значит исказить его.

Ира и пила (много), и легко сближалась с мужчинами, но все это у нее выходило, как в стихах. Пила, но никогда не была пьяной. Чувство внутренней меры, строя, лада в ней было в плоти и крови; как в кошке, падавшей всегда на четыре лапки.

Пила, не торопясь охмелеть, п и р у я час за часом, давая развернуться беседе, не покоряясь слепой стихии вина, а покоряя ее духу братства. После ее смерти дружеский кружок, который она соединяла, стал быстро распадаться. У нее не было никакого сформулированного послания, никакой благой вести. Но она сама была эта весть, была исповеданием неотторжимой от человека внутренней меры и свободы.

Это не значит, что Ира не делала ошибок. Когда подписка о невыезде кончилась, она забралась подальше, в Абаканский пединститут, и попыталась просто скрыть арест своего мужа. Иначе в ВУЗ не взяли бы — разве после

развода. Разведенных жен пускали на свидания; удовлетворялись символом морально-политического единства, а на женскую слабость смотрели сквозь пальцы. Но именно символ покорности был Ире невыносим. Бросить свое призвание (Ира была педагогом по призванию) тоже не хотелось. Первое решение вышло ложным, половинчатым. Не потому, что лгать вообще нехорошо, а потому, что первый сплетник, услышавший про громкое дело в ..., мог ее разоблачить. Ира, не дрогнувшая на следствии, провела несколько месяцев в постоянном страхе. От страха — теряла себя. Сохранилась абаканская записная книжка. Там часто повторяется слово "ощущение". Ира то искала острых ощущений, лишь бы забыться; то ухаживала за знакомой, больной открытой формой туберкулеза, словно искупая грех перед самой собой — не предохраняясь никак от палочек Коха, открывая путь своей смерти.

Кажется, это был единственный период в жизни, когда она делала то, что считала сама грехом. Рассказывать об этом несколько раз пыталась (у нее был культ полной откровенности в любви), но не могла. Рассказывать — пережить заново, снова потерять себя. . . Останавливалась на полуслове. Так же как при попытке рассказать о поклоннике, который из-за нее стрелялся (к счастью, не попал в сердце, был вылечен и потом убит на войне). Порывистость, с которой она останавливалась внезапно, в обоих случаях была почти одной и той же.

Ира могла оступаться; но жить в грехе — не могла. Ее душа была язычницей. Но эта душа в ней сбылась, достигла совершенства. Иное совершенство она понимала вчуже, но сама к нему не стремилась, — как одеться в чужое, не по росту, платье. "Я люблю христиан, — часто говорила Ира, — но сама я не христианка: я врагам своим не прощаю". Других заповедей она тоже не соблюдала, просто не упоминала о них, как о сравнительно пустяковом и в конце концов не чуждом ей деле (она любила роман "Таис", героиня которого кончила жизнь в монастыре, созерцая Бога). Но любить врагов! Этого она не могла. Суть христианства Ира схватила, по-моему, совершенно верно (такой же критерий подлинности христианства у Силуана Афонского). Известного рода вещи и известного рода людей Ира ненавидела;

и предпочитала открыто ненавидеть (и сейчас же забывать о предмете ненависти и жить любовью), чем подавлять и загонять в подсознание свои порывы. Примерно на этом же была основана ее эротическая мораль. Правила, которыми она следовала, могли быть опасны для других; но ей они были впору и в ней они были оправданы.

Мне кажется, такое язычество может существовать и в наши дни. Я считаю неудачным опыт казенного крещения целых народов. Нельзя называть христианами людей, не доросших до христианства. Это ложь, и за нее в конце концов пришла расплата. Казенное христианство пало, уступив место вере в атеистическую революцию. Эта вера в свою очередь оказилась, и сейчас многие возвращаются назад — и опять лгут, и опять пьянствуют и развратничают перед Распятием. Я не вижу здесь выхода, а в Ире вижу (хотя мой выход — другой). Ира имела какую-то свою собственную связь с вечностью. В ней был источник внутреннего света, был строй, и вокруг нее все строилось и ладилось. И от каждого ее шага оставался след в сердце.

В Абакане этот внутренний строй был нарушен. Близости без увлечения и сочувствия друг другу она не признавала (так же как вина без дружеской беседы); не признавала права быть слабым, искать забвения в чем бы то ни было... и все же искала. Когда ее разоблачили, она почти обрадовалась: лишь бы конец. Самого страшного (ареста за подлог в анкете) не произошло. Облили грязью на собрании и выгнали. Отправив детей к бабушке в Москву, Ира забралась к брату, доживавшему жизнь в Тайшете. Отдыхавшись, пришла в себя — и поехала учительницей в сельскую школу на Алтай. Там работали ссыльные немки, там и ей было место.

Впоследствии Ира много раз говорила мне, что в школе оказалось лучше, чем в университете. Я сам работал в 1953–56 гг. сельским учителем, и работа мне нравилась; но институтское преподавание казалось интересней. Присмотревшись к работе других преподавателей, в Москве, я заметил, что самые талантливые из них отодвигали весь казенный курс, даже добротную классику, на второе место. (Фадеева и Шолохова Ира в Сибири вообще не преподавала, предоставив ученикам делать доклады и ограничи-

ваясь исправлениями логико-стилистических ошибок ; в заброшенном алтайском селе сходило с рук). На первое место выдвигался какой-то кружок, драматический или литературный. У Иры был литературный. Я очень удивился (предполагая активное литературное творчество учеников 9 или 10 класса). Но оказалось совсем не то. Ира собирала своих ребят на посиделки и сказывала им романтическую прозу — кое-что помнила, кое-что импровизировала. Ее литературный талант обернулся сказительным талантом и встретился с аудиторией, впитывавшей каждое слово. У начальства волосы встали бы дыбом, узнай оно, что Ира пересказывала (Гамсуна, Гофмана, в то время запрещенных). Но сибирские девочки рыдали над судьбой лейтенанта Глана. А Ира окунулась в стихию романтической любви, в свое исповедание веры (любовь была для нее в полном смысле слова религией, царством Божиим, которое внутри нас). В университете она а н а л и з и р о в а л а Вертера и т.п. так, как ее учил акад. Жирмунский. А в школьном литкружке проповедовала Вертера.

Ира любила русские стихи — но не те, которые сельские школьники могли понять. А прозу предпочитала западную. Я думаю, здесь сказался принцип дополнительности. Запад слишком долго (весь петербургский период) был русским магнитом. Для открытия своей подлинной личности вовсе не обязательно любить свое, почвенное. Широкая и даже слишком широкая русская душа часто искала своей завершенной формы на Западе (меня, напротив, завораживали бездны Достоевского). И то, что влекло Иру, захватило ее учеников, оказалось (если воспользоваться модным словом) вполне народным. В период борьбы с космополитизмом трудно было найти другое место, где Ирины влечения и таланты рассказчицы так свободно и полно могли бы развернуться. . . Несчастье России в ее огромности: поэтому в государстве никогда нет порядка. И счастье России — в ее огромности: поэтому дурные порядки никогда не проводятся до конца, с аккуратностью немецкой машины. Ира нашла свою волю так же, как ее веками находили мужики, бежавшие на окраины, подальше от благопопечительного начальства.

Виктор, читая письма Иры, с удивлением говорил

мне об Ирином увлечении школой. Но увлечение было подлинное, наполнявшее жизнь смыслом, несмотря на все катастрофы, случившиеся и еще ожидавшиеся в будущем... "По обстоятельствам жизни вы должны быть несчастной, — говорил Ире один из ее друзей. — Муж в лагере, с работы выгнали, после университета пришлось пойти в сельскую школу — а жалеть вас невозможно, вы счастливы!" Ира действительно была или несчастной (глубоко несчастной), или счастливой, глубоко счастливой. Серой, ущербной поверхностью жизни она никогда не жила.

После ее смерти Нина Елина, наша общая приятельница, говорила мне, что интенсивность, с которой Ира жила, связана была с предчувствием ранней смерти. Не знаю, так ли это. Но неинтенсивно Ира просто не умела жить. В спокойное время ее интенсивности хватало бы, наверное, на 80 лет (хватило же Гете). У нас она должна была умереть рано (встретилась со мной уже обреченной). Но никакой склонности сменить свою жизнь на другую (уехать, например, если бы это было возможно) у нее не было. Как-то при ней упомянули слова итальянского министра, предпочитавшего увидеть свою дочь мертвой, чем под тотальной властью. Ира презрительно пожала плечами. Слишком большого значения политике, хотя бы тотальной, она не склонна была придавать. Хорошо знала, что при самой страшной власти главное остается тем же.

В чем-то Ира была предшественницей нынешних диссидентов. Но она была очень далека от диссидентского шаблона, от зацикленности на борьбе за справедливость, на политике и т.п. Политические страсти могли ее захлестывать, но только в иные, наиболее напряженные мгновения. В обычное время — просто не читала газет. Отбрасывала все это царство суеты, как ветошь, и на клочке пространства, физического и социального — Б Ы Л А . Хотя почти ничем не владела. Свободно расправляясь во всех своих неправильностях, во всех своих (да простят меня богословы за профанацию термина) природах.

## 2. Слушая своего Демона

В моей семье, переехавшей в Москву из польской и наполовину еврейской Вильны в 1925 г., все было сдвинуто. В Вильне я читал на трех языках и знал наизусть "Крокодила" Чуковского (это была моя первая русская книжка), но больше всего любил Ицхока-Лейбуша Переца с его причудливыми героями-хасидами, не то безумными, не то святыми. В Москве — за год разучился говорить и читать на родном языке. Ни один из моих сверстников по-еврейски не говорил; как-то незаметно я привык, что по-еврейски говорят старшие, а наш язык, язык ребят — русский; хотя с буквой "р" справился гораздо позже, уже 13-летним мальчиком, а все мое детство было омрачено кошмаром: "скажи кукуруза!"

Я много читал и незаметно попал в плен к книжкам, которые выдавали в детской библиотеке. Помню постоянное чувство решительного несоответствия идеалу красных дьяволят\* и, следовательно, собственной неполноценности. Старшие тоже колебались, перестраивались, переучивались даже говорить. Незадолго до смерти, в 1977 г., мамочка вспоминала, как ее поправляли, когда она клялась: "честное благородное слово!" Благородное — нельзя было. Я не знал подробностей, но чувствовал неуверенность и не имел перед собой никакого твердого образца. Первым моим постоянным товарищем стал — уже в седьмой группе, как тогда говорили, т.е. в седьмом классе, — Вовка О., старше меня года на полтора, уже тогда циничный (впоследствии эта черта в нем сильно развилась), ко всему относившийся с иронией и выбравший меня в друзья потому, что я эту его иронию мог понять и оценить. До этого, в пятом и шестом, я был совершенно одинок; на переменах садился около батареи парового отопления и пережевывал очередную порцию интеллектуального опиума.

С Вовкой мы дружили долго, даже в первые годы его официальной карьеры; но я очень скоро понял, что его уверенность в себе — какая-то не моя, что себя мне надо искать, и в 10-м классе кончил сочинение на тему "Кем я

---

\* Название очень известной книги и фильма.

хочу быть" словами: "Я хочу быть самим собой". Учитель, Иван Николаевич Марков, в 9-м классе читавший мои творения вслух, был недоволен. Но я уже нашел к этому времени опору в Стендале. Его эгоизм был хорошим противовесом официальному коллективизму; и я начал пробираться сквозь жизнь, держась за его руку: "политика — пистолетный выстрел во время концерта"; "позиция автора имеет только один недостаток: каждая партия может считать его членом партии своих врагов" — и т.п. Потом таким поводом стал для меня Достоевский. Хотя в чем-то я всегда с ним спорил.

Задним числом думаю, что Мао (со своей точки зрения, конечно) был совершенно прав, доведя культурную революцию до предела, намеченного Мзьяковским (сбросить Пушкина с корабля современности). Ленин любил Тургенева, любил Толстого и не мог и не хотел поверить, что их книги содержат в себе заряд мысли, более сильный, чем его объяснения. Достоевского, правда, он не любил, но из уважения к культуре и Достоевского переиздавали. В 1928 г. — даже "Бесов". И так на официальной поверхности жизни остались волшебные замки, в которые можно было забраться, и там, в глубине, отсиживаться, как мечтатель "Белых ночей".

Я так долго искал самого себя, что это стало моей привычкой на всю жизнь. Может быть, поэтому меня не тянет ни к какому вероисповеданию. Я благодарен хранителям священного огня; но меня больше занимают люди, способные зажечь огонь заново; люди, начинавшие от нуля, дети случайных семейств, как выразился Достоевский. Пловцы, не ищущие дна; чувствующие себя в потоке времен, как дома.

Когда-то у каждого племени были незыблемые правила жизни. Потом — у каждого вероисповедания. А теперь, мне кажется, все предписанные группы расшатались, и надо научиться выбирать самому; хотя бы в пользу групповой морали (старой или новой), но самому, всем существом, а не одной головой или покоряясь привычке. Пожалуйста, выбери веру отцов или любую другую веру, но потому, что ты ее выбрал, а не за тебя это сделали. Это моя утопия, мой проект выхода из нынешнего безличного ми-

ра. Мне неважно, что выберут вожди, какое мнение поступит в президиум. Я не верю в соборность без крепких камней (личностей), из которых складывался собор. И пусть этот процесс займет несколько сот, или тысяч, или десятков тысяч лет. Все остальное — мираж пустыни.

Совершенно естественно, что у двух разных людей не может быть единого взгляда на вещи; это вовсе не означает хаоса; т.е. не обязательно означает. Индийское общество состоит из тысяч джати (каст), у каждой из которых своя дхарма, своя нравственность, не совпадающая с дхармой других джати. И лучше своя плохая дхарма, чем чужая хорошая. Но на некотором уровне, для души, окликнутой Богом, для саньясинов (подвижников), для бхактов (восхищенных любовью), различия снимаются и торжествует единство (уже отчасти внеличное; единство Бога, говорящего разными устами свое, Божье).

Этот порядок держится по крайней мере две тысячи лет; может быть, больше. За тот же срок Европа проделала несколько зигзагов между индивидуализмом и единой, общей для всех моралью (языческой, католической, протестантской. . .) За гораздо меньший срок Россия перешла от православной соборности к сталинскому морально-политическому единству, и сейчас начинает новый поворот.

Может быть, стоит внимательнее присмотреться к идее свадхармы? Разумеется, перенесенной с наследственной группы на свободно образованную группу и на отдельную личность; т.е. правил, вытекающих из природы личности, рожденных внутри, а не навязанных извне. Я не обсуждаю вопроса, часто ли это возможно сейчас, при общей неразвитости личного начала. Если нет позвоночника, нужна скорлупа. Но я за то, что позвоночник лучше, и надо поддерживать позвоночных. Может быть, их со временем станет больше.

Почему нельзя принимать личное разнообразие так, как этнограф принимает многообразие племен? Одно племя (ансариты) воспевало платоническую любовь, другое — чувственные наслаждения. В одном племени юноши и девушки устраиваются вокруг костра, поют песни, а когда костер гаснет, обнимаются. В другом племени девушек,

достигших зрелости, держат в клетке, как птиц. Это не безнравственность. Это племенная свадхарма. .

Разрушение племенных рамок создало философский вопрос об общей для всех нравственности — и ответ Будды, ответ Христа. Вопрос понятен каждому интеллигенту. Но ответ, кажется, до сих пор не понятен. Мы склонны считать, что Христос ответил, что есть истина; а Он не сказал, что есть истина, а сказал другое: Аз есмь истина. И Будда сказал: кто видит меня, видит дхарму; кто видит дхарму, видит меня. Я понимаю это как требование быть самим собой, в самом себе дать расти "зародышу просветленного". Хасидский цадик Зуся говорил: Бог не хочет, чтобы я был Моисеем; Он хочет, чтобы я был Зусей. Тут заранее принимается множество путей роста, бесконечное число личных путей. Примерно так, как все индийские свадхармы могут быть поняты (в идеале) как разные пути к одной цели, освобождению (мокше).

Признав Христа, но не поняв Его, все европейское человечество превратило путь Христа в систему слов, в идеологию, в то, что говорится, но не делается. Эта идеология очень легко уступила место другой идеологии. А когда все идеологии рухнули, люди, наделенные благодатью силы — Л.Н. Гумилев назвал их "пассионариями", "страстными натурами" — нашли свое подлинное бытие большей частью не на том уровне, на котором "наша душа христианка" (Тертуллиан). Демон, к которому они прислушивались, часто был языческим демоном. Язычество — необходимая ступень и необходимая форма духовного роста. Естественно складывавшееся общество до скончания веков не будет чисто христианским (разве с помощью Добрыни и Путяты; и с таким же успехом).

Ирина фраза: "Я люблю христиан, но сама я не христианка" — была искренней в обеих своих половинках. Она действительно любила христиан, т.е. тех, кого признавала христианами, кто естественно жил по закону христианской любви. Эти христиане ее тоже любили. Но сама она действительно не была христианкой. Не только молитвы мытаря, но даже Рублева не понимала. Верила мне на слово, что великий художник; но ее мистическая живопись была другая: дальневосточные "иконы тумана", "Чайки" Моне. На

то и другое она не могла смотреть без дрожи восторга. У нее не было претензий, что ее выбор — высший. Ей вполне было достаточно того, что это ее выбор.

Перерастая себя саму, Ира очень редко сжигала то, чему поклонялась. Просто отодвигала прожитое назад, в тень. Но к книгам своего детства и юности часто возвращалась и перечитывала: то детские сказки, то Диккенса. То, что было пережито, стало частью ее самой, уже неотторжимой, и мода была здесь не властна. Так же и воспоминания о непосредственно пережитом, о романах ее собственной жизни: они откладывались в "заветный сундучок" (ее выражение) и время от времени перебирались, "перечитывались". Или, если был слушатель — пересказывались. Я охотно слушал. Слушая, уже любя ее бесконечно, приняв ее в свое сердце, еще не зная, чем она была прежде. И так она мне открывала свой длинный дон-жуанский список, и мы его вместе обсуждали и старались понять. Разумеется, не только это. Но область сердечных увлечений — единственная, где человек, даже при Сталине, сохранил свободу выбора, где жизненная сила и своеобычность с самого начала не наталкивались на стену...

Романов у Иры было много. Может быть, даже слишком. Она это оправдывала довольно своеобразным аргументом: "Если бы я не искала, если бы я примирилась с тем, что мне выпало, мы бы никогда не встретились". Я соглашался. Во мне рассказы ее вызвали желание дать ей что-то такое, чего она раньше не знала, отодвинуть прошлое так же, как Пруст отодвинул для нее в тень Хаксли. И может быть, это естественное желание помогло мне пробиться через трудности первых месяцев брака, которые так убедительно страшно описал Толстой в "Крейцеровой сонате". Может быть поэтому проза общей жизни нас не захлестнула. А потом действительно было необыкновенно хорошо вместе. Даже лучше, чем обещала влюбленность.

Ирины рассказы всегда были рассказами, как рождались ее решения, правила, принципы. И я должен сказать, что в Ирином безумии, как в безумии Гамлета, была своя система. По этой системе романы, доводившиеся до конца, были вполне разрешены. Но нельзя было разойтись с чело-

веком, посаженным в лагерь (хотя бы для вида, как делали многие жены, продолжавшие после развода ездить на свидания и слать посылки мужьям). Проверкой этого правила была самая большая любовь, неожиданно выпавшая на ее долю в поезде, в разговоре с попутчиком. В одном купе с нею оказался человек не очень молодой (лет сорока с чем-то), но и не старый, физик из Казани, Владимир Иванович. Он побывал в Париже на каком-то конгрессе. Ира спросила, на что похож Париж? — На серую розу. .. Узнала стих Волошина, удивилась, обрадовалась. Разговор естественно перешел на стихи, романы, музыку. Оказалось, что В.И. помнит, знает, любит примерно то же, что она. Резонанс нарастал с каждой репликой — как колебания моста, по которому в ногу идет рота солдат. Ведь все происходило в 1951 г., т.е. под огромным давлением, направленным против того, что они оба любили. Школьники зубрили постановление о полумонахине, полублуднице. Давление извне незримо участвовало во встрече, возводило в степень ощущение чуда, с которого начинается любовь (каждый человек, сохранивший традиции серебряного века, был маленьким чудом; встреча в поезде — двойным чудом). Расставаясь, обменялись адресами. И в адрес Ириной свекрови пришла телеграмма: "Вспоминаю бегущую по волнам". (У Иры действительно была какая-то летящая походка; мне она напоминала статую Nike, В.И. — героиню Грина. Виктор называл ее прозаичнее: сестра Знаменских (известных в 30-е годы бегунов).

Зимой между Казанью и алтайским селом полетели письма (к сожалению, погибшие). Заочно все чувства были названы своими именами. Но на "предложение", как говорили в старину, Ира ответила отказом. Для нее это ничего не решало. Любовь была сама по себе, брак — сам по себе (как в "Новой жизни" Данте, как в поэзии бенгальских бхактов). В.И. был, видимо, ближе к традициям XIX в., а может быть — просто старше и бережнее к себе. Не видя впереди ничего, кроме мучительной радости коротких встреч и расставаний, он перестал писать. Ира, как школьница, бегала на почту за письмом. Кончилось тем, что простыла. За воспалением легких началась вспышка туберкулеза, вроде скоротечной чахотки. В лихорадке увидела,

что В.И. умер (это был бред). Призрак воображения овладел ею со страшной силой. И вместо соединения в жизни стало грезиться соединение в смерти...

Вытащили ребята, обожавшие свою учительницу. Они с такой любовью старались ей услужить, так огорчались, что она не ест деревенских лакомств, что Ира, уже переставшая есть и принимать лекарства, снова захотела жить — и поднялась с каверной в легком, худая, как скелет, но с каким-то новым опытом, перевернувшим ее. Как будто побывала в царстве смерти — и вернулась оттуда. Мне кажется, этот опыт второго рождения отпечатался на ее лице в карточке, которая вот уже более 20 лет стоит у меня на столе.

### 3. Судьба и биография

Один из наших друзей, Евгений\* как-то сказал, что Ира — женщина без всяких предрассудков, как дурных, так и хороших. Я очень удивился. Кошка, перебежавшая дорогу, была для нее сильнее всей рационалистической философии.

Она была одета в рационализм, как в платье, как героиня ее повести "Царевна-Колокольчик" "стала носить темные платья, чтобы казаться старше и серьезнее".

Ира гораздо сложнее Нины (героини повести), но что-то свое она в Нине высказала: "У меня круглые "отлично", я занимаюсь с утра до ночи, сокурсницы просят у меня конспекты для подготовки к экзаменам и считают тетради мои образцовыми. Я научилась говорить — когда это вообще необходимо — холодным и уверенным тоном". Очень помню этот холодный и уверенный тон. Он долго отталкивал меня в спорах. "Я все еще боюсь разоблачить в себе ту нелепую фантазерку..."

Только сойдясь с Ирой ближе, я понял, что "нелепую фантазерку" она в себе никогда не хотела уничтожить. Просто привыкла, что в обществе ее надо прикрывать, как прикрывают наготу. Царство снов было прикрыто од-

---

\*Так я его назвал в эссе "Пережитые абстракции".

ним темным платьем и одним светлым. Темное платье образцовой исследовательницы, презирающей романтические приемы в науке; светлое платье женщины без всяких предрассудков, свободно отдающейся капризам чувства. . . Платья надевались и носились всерьез. Это не были карнавальные маски. Они становились частью ее жизни. Но они никогда не были всей ее жизнью. В более глубоком слое все время шла своя, тайная жизнь. В этой жизни продолжались детские сны, и в сказочном мире были свои необъяснимые уроки и запреты. Не общие табу (на них она действительно смотрела с презрением), а свои собственные.

Ира очень любила ирландский эпос, считала его гораздо поэтичнее греческого; а ирландские герои погибают обычно из-за того, что нарушили какой-то свой личный закон, или не сумели его нарушить, чтобы спастись, или столкнулось несколько законов сразу. Так, по своим личным законам (ирл. гейс, множ. гесса) она жила (могла отдаться по первой причуде, но отказалась выйти замуж за горячо любимого Владимира Ивановича, чтобы не разводиться с нелюбимым — заключенным). Так она и умерла.

Одним из Ириных законов было — не дрейфить! Я сознательно употребляю школьническое выражение. Мог бы употребить коммунарское (из Макаренко) : не пищать! Ночью ее иногда охватывал страх смерти (как детей — страх темноты). Но я никогда не видел, чтобы она испугалась днем. Только один раз ее пальцы несколько дрожали, когда она доставала из сумочки паспорт.. .

Это было во время дела Пастернака. Илья Штайн забежал днем за деньгами — ему не хватило своих, чтобы отправить нобелевскому лауреату корзину цветов. Ира прибавила наших, и дело было сделано. Илья издала проследил, как корзину несли через комсомольские пикеты, осаждавшие дом в Лаврушинском переулке. Вечером, когда я вернулся из библиотеки, у нас сидели друзья, обсуждая все, что стряслось. И вдруг постучали: паспортист, какая-то тетка. По случаю подготовки к переписи производится проверка. Предъявите, пожалуйста, паспорта. . . Не испугался только Ирин сын: у него не было нашего рефлекса (паспорт — ордер — обыск и арест).

Я внимательно слепил за лицами взрослых муже-

ственных людей, прошедших через Лубянку, не сказав ничего лишнего: один помрачнел, другой даже побелел. . . Потом, когда проверка кончилась, товарищ с побелевшим лицом сразу выскочил (как из дома, где может обрушиться потолок). А Ира мгновенно успокоилась и стала сочинять открытку Пастернаку. "Жаль, что мне не понравились первые две части "Доктора Живаго". Ему было бы приятнее". Написала про стихи, подписалась — я видел, что она снова совершенно спокойна. Я поставил свою подпись вслед за ее фамилией, но мне было трудно это сделать. А ей — уже опять легко.

Когда ей предложили операцию, резекцию легкого, она без колебаний согласилась. И когда опытный терапевт, посмотрев ее, сказал: "Пусть Богуш (хирург) еще раз подумает", — она сама опять не поколебалась. И я не останавливал ее, и после смерти ее никогда об этом не жалел. У Корчака где-то написано: "Ребенок имеет право на смерть". Ира имела право на смерть. Я не мог лишить ее этого права.

Как назвать то, к чему она прислушивалась? Этика? Эстетика? А может быть — что-то еще до раздела на этику и эстетику? Прекрасное (по крайней мере по-русски) — превосходная степень и хорошего, и красивого. В п р е разрушены все границы, и то, что со строго моральной точки зрения было дурно, становится хорошо. Я думаю, в этом секрет обаяния многих сильных характеров (и в жизни, и в искусстве).

Много лет спустя, над книгой М. Бубера "Великий проповедник", я вспомнил Иру, читая о грешнике, с которым дружил цадик. У веселого грешника не было склонности к величайшему греху — отчаянию. И во всех своих страстях он был подлинным, 'самособойным".

Все естественное в Ирином космосе было прекрасно, все прекрасное — естественно. За исключением очень коротких периодов выбитости из себя, у нее не было желаний, вызывавших стыд, уродливых, криво выросших; и то, чего она желала, не вызывало стыда.

Зато она стыдилась многих вещей, которых я совсем не стыжусь. Очень неохотно дала мне трудовую книжку, зачислиться на 2 месяца старшим (или главным) библио-

графом в ВГБИЛ. Моя собственная трудовая книжка не годилась; в Библиотеке иностранной литературы кадры были заевреены; так что работал я, а деньги получал на ее имя по доверенности. После этого вкладыш был с наслаждением выдран. Послужной список имел для Иры какой-то бытийственный смысл. Сельской учительницей она служила с вдохновением, и скромность этой профессии не смущала. А слово "библиограф" почему-то воспринималось как поруха чести, как фальсификация ее лика. Может быть, смешно. Но отказ от чисто бумажного факта развода — на той же линии, и в глубине то же чувство чести. Ирин мир был, говоря современным языком, высоко семиотичен (все внешнее имело внутренний смысл). Мой мир таким не был. В моей трудовой книжке: техник треста Союзэнерго-монтаж, киоскер Союзпечати и т.п. Я привык быть "люмпен-пролетарием умственного труда" (как меня назвал Евгений) и "философом, задушенным в колыбели" (Виктор). А Ира не привыкла. Не хотела привыкать. Она сама поехала в Сибирь, не дожидаясь, пока отправят по этапу; и так во всем. Не знаю, характерно ли это для России? Скорее, нет; у России скорее судьба, чем биография. . .

Сколько таких людей нужно, чтобы изменился характер страны? Не знаю. Как их воспитывать? Опять не знаю. Дети Иры ее духа не унаследовали. Она давала им полной мерой то, что ей самой не хватало: свободы. И обоих потянуло к догме. Видимо, иначе нельзя. Так, противотечениями, идет жизнь.

Ира неповторима, как коринфская бронза. Город когда-то брали штурмом, и статуи, погибая в огне пожаров, образовали новый сплав, ценившийся потом на вес золота. Такие неожиданные драгоценные комки образовались и в пожаре России. Не одна Ира. Может быть, и вся жизнь во вселенной — такой чудом слившийся сплав?

### 3. География снов

Первое воспоминание Иры — блик на паркете, к которому она ползла, еще не умея ходить. Это впечатление — одно из самых сильных в ее жизни. Она помнила себя очень

рано и очень крепко. Другая ее черта — память на сны, удивительно художественные, целое романтическое царство, всплывшее, когда рационалистка закрывала глаза. Ира шла в постель, "как в ложу, за тем, чтобы видеть сны" (Цветаева). Сны составляли добрую половину ее жизни, и может быть лучшую. В набросках к повести "Магдалена" намечена была особая глава: "География снов".

"И вдруг вспоминаешь, что уже был здесь — в другом сне. И знаешь, здесь — поворот, здесь — обрыв, ведущий к реке, здесь — вокзал. . . И вдруг встречаешь каменные сводчатые ворота с образом Мадонны наверху: это кусочек из реальных воспоминаний. Я проходил через них, когда спешил в школу с сумкой в руке, а потом они были разрушены и сохранились только здесь, в городе снов. . ."\*

"Но самое интересное — это все-таки город, город снов, куда я постоянно возвращаюсь."

"В сущности, можно было бы создать новую науку — географию снов. . ."

"Не всегда попадаешь в него сразу, но вдруг в какой-то момент узнаешь знакомые очертания; здесь поворот на вокзал, а вот бывшая тихая река. Эта улица идет вниз, там есть маленький домик, обвитый диким виноградом, а вот огромные сводчатые ворота с полустертой старинной надписью наверху. . ."

Когда долго не бываешь там, потом с удивлением наталкиваешься на незнакомые улицы с рядами новых кирпичных домов. Кажется, раньше здесь было что-то другое? Или просто я еще не забредал в этот квартал?"

В "Царевне-Колокольчик" снов так много, что реальная жизнь кажется иногда просто дурным сном, кошмаром, от которого нужно проснуться:

"Ночи растягивались, вмещали ворох лиц и событий, а дни были серые и маленькие. Просыпаешься раз, другой, третий, и все середина ночи, и все голубое ледяное окно, а за ним тусклый фонарь — до утра поспеешь еще Бог весть куда забраться и что повидать..."

Если днем все было плохо, оставалась ночь. Тайная ночная жизнь души давала Ире особую силу. Всегда можно

---

\* Какие-то реалии Смоленска, разрушенного в годы войны.

было ускользнуть от невыносимого, открыть зеленую дверь — и оказаться в другом мире. Так и в кабинете Порфирия Петровича уходила в стихи Верлена и Рильке — тем же привычным для нее ходом. Так Нина - героиня "Царевны" — раздвигает купе общего вагона по дороге на север:

" . . . Я думаю, у всякого человека, если только он не безмерно несчастен, есть такая "шкатулочка" с плотно закрытой крышкой, которую на несколько минут можно раскрыть, когда остаешься один. Впрочем, она все равно есть — если даже очень несчастен, но просто она тогда отказывается раскрываться. . . "

И через несколько страниц (вагонная сцена, пьяная исповедь соседа, приставање какой-то синей фуражки) : "Вот, а теперь шкатулочка. Я приоткрываю ее и выпускаю небо. Огромное розовое небо за окном вагона. Из душных вагонных сумерек оно кажется почти невероятным. Оно еще не мое, а только обещанное, как намеченный подарок в витрине магазина, но стоит сойти на маленьком полустанке, и я получу его "взаправду". . . "

Черный лес с горизонта подполз поближе, потом окружил черным кольцом. Плотная темная масса, слишком огромная, чтобы быть просто неодушевленным скоплением деревьев. Если пойти туда — черная стена раздвинется и закроется за тобою. И обдаст сырým холодом. И сначала будет страшно. Но ведь полагаются сказочные препятствия. И та девушка, которая стоптала девять пар железных башмаков и сглодала девять железных просвир, шла вот именно по такому лесу. Может быть, ее тоже раньше когда-то звали царевной и она стояла на лесной опушке, среди папоротников, с цветком в руке. И цветок светился ласковым сказочным светом, которого боится лесная нечисть.

Наверное, если пригляднуться хорошенько, то можно увидеть в этом лесу, за окном, слабый голубоватый огонек. Это она идет, усталая и сонная, в нелепых железных башмаках не по ноге, а цветок у нее в руке, как светлячок, слабо освещает дорогу. Ведь сказочные условия строги и безоговорочны: смягчающих обстоятельств и послаблений не допускается. Повернешь назад — все пропало. Разве только на привале, завернув ноги в мокрые листья подо-

рожника, выпустишь на минуту из деревянного сундучка райских птиц полетать, поразмять крылья, порадуешься на них — и опять закрыл сундучок, и в дорогу.

Будет же конец лесу когда-нибудь!"

Конца не было, но были поляны с золотыми лютиками. Были ходы из темного леса в какой-то другой, сказочный, добрый. Были прикосновения. . . Далось бы это в другое, более спокойное, более светлое время? Не знаю.

Повесть кончается словами — какой-то цитатой, но пересказанной по памяти сердца наизусть: "Жизнь ломает всех — самых нежных и самых храбрых, но настоящие люди, пройдя через это, становятся только крепче на изломе".



В Ире не было никакой позы, никакого расчета на бронзу, никакого подчеркивания своей силы. Я почувствовал ее в том, как она читала стихи; но в обществе она и это делала очень сдержанно. Держалась просто и никогда не добивалась центрального положения. Это выходило само собой. Плотное небесное тело оказывалось в центре системы, а легковесные — на орбитах. К ней влекло старых и молодых; вокруг нее всюду возникал круг друзей.

Как-то я спросил Леонида Ефимовича Пинского, почему он так кротко переносил подтрунивание Иры (в то время уже покойной). Он ответил, что Ира поразила его *своим* мужеством. Я вспомнил, как это было со мной в первые месяцы нашей общей жизни. Ира еще ютилась на кухне Виктора. Я чувствовал себя в это утро опустошенным и не мог понять, почему полюбил эту женщину и что я в ней люблю (бывают такие пустоты в начале общей жизни. Толстой сделал из них "Крейцерову сонату"). Мне не нравилась манера ходить полдня в затрапезе, желтое лицо, посиневшие губы... Шел обычный отрывочный разговор о политических событиях и слухах. Ира начала, как тысячи других матерей: мой милый, не рискуй по пустякам; ты знаешь, как мне страшно за тебя. . . (в кухне сидел, дожидаясь котлет, ее сын). Но вдруг она распрямилась, мне по-

казалась даже выше своих 170 см. Пневмоперитониум — пузырь в животе — некрасиво выпиравший как у готических статуй, куда-то исчез. Голос, звучавший с нежностью, редко достававшейся старшему (он держался по-взрослому, на дружеской ноге), стал страстным, почти звенящим: "Но если начнется по-настоящему, я не хочу, чтобы ты оставался позади; не для того я тебя воспитывала!" Несколько секунд мы оставались неподвижными. Потом опять зашипели котлеты, выплыла из облака Гермеса плита; Ира, как ни в чем не бывало, наклонилась над сковородой. А у меня еще долго бегали мурашки по спине. Словно волшебник перенес меня на 3000 лет назад и я услышал, как первая спартанка сказала: со щитом или на щите!

Во всех своих многочисленных и трудно совместимых поворотах Ира была "всею собой" (цветаевское выражение, без которого я не могу обойтись). Представляю себе, как захмелел Сергей, будущий ее муж, попав в Ирин кружок, как он захотел украсть Джококонду — и украл: воспользовался неопытностью 18-летней девчонки, не звавшей, что за известной чертой она потеряет контроль над собой и над ним (ему было 26, он знал). Опомившись — поплакала. Потом забеременела — и уступила мольбам выйти замуж. Отказ в этом положении было бы очень трудно объяснить матери. В конце концов, Сергей ей нравился (как многие другие). Но перемены в браке, на которую он рассчитывал, не произошло. Ира продолжала свою собственную биографию, в которой возраст школьных романов еще не кончился. Уступала обстоятельствам, так, как с младенчества внешне уступала своей матери, и продолжала внутренне жить по-своему.

Из "Царевны-Колокольчик":

"Мама, непоколебимо уверенная, что "на самом деле" не бывает никаких странностей, все странности — это в книгах и из книг, а по-настоящему все просто и обыкновенно..."

"Почти такой же разговор уже был лет десять-одиннадцать назад, но дело не в нем, а в его причине. Как я могла забыть. Тогда была осень в разгаре.. ."

В этом шуршащем, преливчатом море из листьев я была не одна. Как-то само собой получилось, что должна появляться девочка и играть со мной. Я твердо знала, как

ее зовут: Лита. Моя подруга Лита. Она была веселая. И она все понимала еще раньше, чем я скажу. Она знала больше меня. Мы разговаривали часами и придумывали удивительные истории. Нам было очень хорошо.

Один раз мой отец проходил мимо и увидел, что я смеюсь, разговариваю, кому-то протягиваю листья, хотя я совсем одна. Он не видел мою подругу Литу.

Он очень испугался, взял меня за руку и увел домой. Дома он кричал на маму:

— Как ты ее оставляешь на целый день одну? Ведь этак она и совсем свихнется. Сведи ее сейчас же к доктору.

— И вечно ты делаешь из мухи слона! — отвечала мама. — Подумаешь, какой ужас! - все дети за игрой увлекаются и начинают говорить вслух. Вырастет, поумнеет — и будет как все люди. Доченька, иди сюда. Ты с кем разговаривала?

— Ни с кем, мама. Я за игрой увлеклась и начала говорить вслух.

— Ну что, видишь сам, что я права, — с торжеством сказала мама отцу. А он махнул рукой и ушел."

Одна из подруг Иры говорила мне, что Ира покоряла своим умом. Может быть, иногда и умом. Но ум никогда не был ее государем (как у подлинных рационалистов). Только визирем.

"Как можно узнать, где и когда встретятся поезда, если сразу начнет представляться песчаная насыпь, поезд грохочет по мосту, а под ним болотце, поросшее крупными незабудками, потом мелькают столбы с загадочными цифрами, крохотные, словно игрушечные, будочки на разъездах — и так не доходит дело до встречи поездов! Да и зачем мне это знать? Ну, встретились, разъехались, пыхтя и гудя, и помчались каждый своей дорогой. . . Много позже я поняла, что надо сделать усилие и мысленно отбросить все эти метры бумазеи — в цветочках и полосатые, литры горючего с пронзительным запахом — и тогда остается рисунок цифр со своей собственной незамутненной жизнью. Как хорошо, когда алгебра, и вместо грохочущих поездов, въезжающих в воображение, появляются тихие "а", "в" и "х" ("Царевна-Колокольчик").

"Алгебраический" ум Иры никогда не решал, почему один запах влечет, другой отталкивает. Решало чувство, и оно делало это самодержавно, не боясь самых причудливых парадоксов. Цезарь выше грамматики (и логики). Визирь — разум послушно понимал, что царю нравится и Мышкин, и Люцифер. Он не колебался между Мышкиным и Люцифером (из "Восстания ангелов" Анатоля Франса), а просто принимал, что "мои любимые герои — князь Мышкин и Люцифер". Хочется украсть фразу из статьи С. Аверинцева о В. Иванове: симпатии Иры обладали почти геральдической отчетливостью. Они коренились в ее собственном бытии и не допускали опровержения или уступки моде. Эта твердость в своем дополнялась терпимостью к чужому, совершенным отсутствием фанатизма (почти всегда связанного с тайной внутренней неустойчивостью, с боязнью измены самому себе. У Иры этого страха не было).

Каким-то своим поворотом Ира пошла в семью, в замужество, в материнство. Но она по-прежнему оставалась в центре кружка, друзья по-прежнему в нее влюблялись, и она по-прежнему принимала это. Если бы Сергей видел Иру такой, какая она была, и себя таким, каким он был, без мук тщеславия несостоявшегося героя, их брак МОИ бы быть полусчастливым. В декабре 1941 г., в необжитом Ташкенте, Ира родила младшего сына. Не было друзей. Внешнее как будто замерло. И в бесконечных военных очередях, в долгих зимних походах за молоком, на другой конец чужого, враждебного города, открылось море нежности к маленькому. Первенец этого взрыва не вызвал: он пришел слишком рано, до внутреннего душевного срока, и был как будто отодвинут. Только позже сложились полудружеские, полувлюбленные отношения сына с матерью. Младший навсегда остался для Иры Ребенком с прописной буквы (даже в 17 лет), но особенно в младенчестве. И на какое-то время он ее совершенно заполнил. . . . Вскоре отыскалась и мать Иры со старшеньким, вывезенным в колясочке из горящего Смоленска. Все собрались в общежитии преподавателей танкового училища. Сергей по-своему обожал Иру и, майором, пренебрегая начинавшимися приличиями, мыл за жену полы. . . . Но он не был простым и смирным человеком, способным отступить на второе место

перед друзьями, очень быстро снова окружившими Иру, Кажется, он не мог пережить, что тускнеет в ее глазах, что она стремительно подымалась над ним в развитии ума и характера, в точности вкуса и в твердости и силе сопротивления "морально-политическому единству. . ." Чувства мужчины, укравшего Джиоконду и боявшегося, что ее перекрадут, сливались с тщеславием маленького и все больше мельчавшего служащего, терявшего вольнодумство молодости и привыкавшего ко всему, что его окружало: к рутине, конформизму и военному пайку. . . Сергей не верил, что Ирины друзья и поклонники — не любовники, ревновал бешено, с шумными сценами. Она пыталась объяснить, что оставалась его верной женой, но вольна в своих симпатиях к людям. Он считал ее объяснения ложью. А этого она, в свою очередь, не могла простить. В ответ на очередную безобразную сцену она взбунтовалась -- и начала изменять всерьез. Ей было тогда 23 года. Примерно в этом же возрасте я получил незаслуженный наряд вне очереди, и тут же, назло командиру взвода, заслужил взыскание: вышел из колонны (мы шли на фронт), срезал по тропочке угол дороги и со вкусом просидел минут 10 или 15 на деревянной скамеечке. Младший лейтенант со смешной фамилией Ребенок (ударение на последнем слоге) прошипел, что на передовой применил бы оружие. Я ответил, что у меня тоже есть винтовка. А всех-то делов было — просто-яь два часа около пирамиды с винтовками. И поставил меня сержант Сорокин (командир отделения), с мужицкой насмешкой выполняя глупый приказ, вне очереди — первым, т.е. вечером; а другие, в очередь, караулили ночью.

Через несколько дней я был ранен и Ребенка больше не видел. Ирин бунт длился дольше — года два или три.

## 5. Человек и его миссия

Ганди говорил, что к голодному Бог приходит как хлеб. Я дерзну продолжать: к ребенку Бог приходит как елка, к юноше и девушке — как взгляд, как прикосновение друг к другу; к зрелости — как правда; к старости — как смерть... И все, пришедшее в свой час, становится пре-

красным. Стояние за правду — до костра. Созерцание смерти, разрешения от всех уз, возвращения света к свету...

Иногда порядок времен отменяется. Вечность входит, куда ее не ждали, и юноша вдруг становится зрелым мужем, даже святым старцем. Иногда благодать дается наплывом — беспечному грешнику, поэту. . . Молодого Пастернака вдруг в любовном стихотворении прорвало стихами, которые всегда поражали меня — и только сейчас, понемногу, я начинаю их понимать :

Но старость — это Рим, который  
Взамен турусов и колес  
Не читки требует с актера,  
А полной гибели всерьез.

Когда строку диктует чувство,  
Оно на сцену шлет раба.  
И тут кончается искусство,  
И дышат почва и судьба. . .

Почва здесь -- как горячий снег, бездна, перед жерлом которой человек ощущает свою собственную бесконечность :

Все, все, что гибелью грозит,  
Для сердца смертного таит  
Неизъяснимы наслажденья . . .

Бог не торопится и проходит через все возрасты (Зевес, балуя смертных чад, всем возрастам дает игрушки). Волшебные слова молодости — "холодное пламя", "сдержанная страсть". Только в темной глубине за Песню Песней прячутся книги Иова и Экклезиаста . . .

Молодости даровано право на эскапады, на выходы, в которых душа пробует свои силы перед настоящими битвами духа. Молодость дразнит общество чайльд-гарольдовым плащом, эпатирует буржуа. "Все мы Онегины, — говорил Герцен, — если не предпочтем быть чиновниками и помещиками". Ириным плащом была скандальная слава леди Тентемаунт (из романа Хаксли "Контрапункт"). Образ холодной умом и по-мужскому активной вампы ей нравился,

хотя разнузданной по натуре она никогда не была (наоборот: очень сдержанной). Нравилось попирать общепринятые приличия. Нравился комплимент, который она получила от какого-то ловеласа: "Я понял, почему у нас не выходит романа. Я охотник, а вы не дичь, вы сами охотница".

В эти годы, на одном из последних курсов университета Ира попала на глаза Надежде Яковлевне. Надежда Яковлевна ее не запомнила. Но Ира запомнила. Увидев в руках студентки томик стихов мужа, вдова попросила перечитать (свой пропал в эвакуации). Не дать было невозможно. Получить обратно — тоже. Отговорки звучали фальшиво и, главное, небрежно. Ира почувствовала презрительное убеждение, что книга ей не нужна. С книгой — простилась бы (мне нужна, ей — нужнее). Но презрения не простила. Каждый раз вспоминала с ворчанием: "Мандельштамича. . ."

Держа в голове Воронежские тетради и Четвертую прозу, затравленная женщина осторожно пробиралась по "кровавой земле". Судить встречных приходилось как ОСО — по статье ПШ (подозрение в шпионаже). Отец мой за это недоказанное и недоказывавшееся подозрение отбыл в ссылке 5 лет. Недостойные доверия отбрасывались целыми категориями: по молодости, по жизнерадостности. То, что других привлекало, Хранительницу Огня отталкивало. Видимо, Ира была одной из осужденных с первого взгляда, и взгляд это выдал. Жаль, не угадала Надежда Яковлевна; но что поделать. В ее положении лучше было ошибиться в сторону подозрительности, а не доверчивости.

Когда я прочел Первую книгу, показалось: Ира ошиблась. Не в факте, в чувстве. Факт ничего не значит. Ей самой случалось присвоить книгу, стоявшую в чужом шкафу для мебели. Ошиблась в оценке человека. Не сумела простить (этого она, действительно, иногда не умела).

Потом дошла до меня Вторая книга, и опять все повернулось по-новому. Злой, бдительный глаз — добродетель Хранительницы Огня. Но продолжение добродетели — порок. Случай с Ирой стал для меня маленькой моделью других конфликтов: с Волошиным и Петровых, с Тыняновым и Ахматовой...

Характеры, подобные Надежде Яковлевне, ставят

перед неразрешимым вопросом (и даже несколькими вопросами) . Во-первых, что делать человеку, у которого глаз все темные пятна видит как бы под увеличительным стеклом, как бы в лучах Рентгена? Это ведь не только у Надежды Яковлевны; у моей приятельницы Г. то же самое; несколько лет тому назад она призналась, что при первом знакомстве со мной упрекнула мужа: с каким идиотом ты меня посадил рядом? Я решил использовать случай и спросил: но может быть, ты ошибалась и в других случаях? Может быть, не стоит верить своему чутью на все 100% и надо брать умом поправку? Она помолчала и сказала, что отвлеченно говоря, я прав. А когда пыталась идти вопреки чутью быть ко всем доброй и терпимой, то выходило худо. И рассказала, как в юности, преодолевая себя, стала привечать очень противного молодого человека Феликса Гарелина; не виноват ведь он, что у него такая противная рожа. Друзья тоже стали его принимать (если уж такая чистоплюйка. . .) А он оказался стукачом, и по его доносу посадили Толю (будущего ее мужа) и нескольких его товарищей.

Второй вопрос — о средствах и цели. Как быть со средствами, которые в самих себе не содержат доброй цели — с недобрыми средствами? Великая миссия невыполнима без известной жесткости к людям. Но вот миссия выполнена. Ближайшая цель достигнута. Ноша освятила того, кто донес ее. А между тем, властный характер не хочет смириться, и средства в нем начали новую, свободную жизнь. Привычки резкого, безапелляционного суда вырываются за рамки, поставленные Целью, и начинают капризно своевольничать. Бесы, заколдованные и данные в услужение вместе с ношей, становятся господами, оседлывают того, кто правил ими и с их помощью проделал свой страшный путь. И уже они правят им (или ею). Во всяком случае, иногда правят. При случае. И случаи эти выпадают все чаще и чаще. Поклонники, зачарованные, ослепленные подвигом, ничего не замечают (или все оправдывают). Но передо мной встает вопрос: как бы на великом пути не потерять свою малую душу? Как бы Великая миссия не стала великим жерновом на шее?

Люди Великой миссии этого вопроса себе не ставят.

А я ставлю, может быть, только потому, что у меня великой миссии нет. Что все мои миссии — с маленькой (строчной) буквы\*. И все-таки я ставлю свои вопросы. Это ведь тоже своего рода миссия: "удерживать деятелей от охватывающего их транс". Пусть мне простят еще один поворот темы, провокационный. Если миссия оправдывает жесткий характер, то ведь правда и другое: "революцию не делают в белых перчатках". И "то, что полезно для революции, нравственно". Или то, что полезно для контрреволюции. . . Но тогда мы приходим к тому самому, что уже воздвигло один Архипелаг. Великая миссия диктует мораль виконтессы де Босеан (и Вотрена): смотрите на мужчин и на женщин, как на почтовых лошадей, ступайте по ним, как по трупам. ..

Историю не делают в белых перчатках. Если бы Мохаммед остался чистоплюем, призыв ислама иссяк бы в песках Аравии. Видимо, люди, подобные Мохаммеду, люди с Мандатом Неба, необходимы Провидению и один Бог им судья. Но по крайней мере так же нужны просто люди, не несущие ни Корана, ни Воронежских тетрадей, ни "Архипелага ГУЛАг", а только свое человеческое бытие. В конце 50-х годов я не уставал повторять стихи Пастернака:

Быть знаменитым некрасиво.  
Не это подымает ввысь.  
Не надо заводить архива,  
Над рукописями трястись.. .

Лет десять после смерти Иры я шел по "живому следу". Мой "Квадрильон" был написан и "Нравственный облик исторической личности" сказан по ее молчаливому завещанию. Вся моя деятельность 60-х годов — это продолжение Ириной жизни, "за пядью пядь". Сейчас во мне сильнее говорят другие призывы. Но след Иры жив во мне и остается во всем, что я говорю и пишу.

---

\*Ср. размышления об этом в книге И. Зильберберга "Необходимый разговор с Солженицыным". К сожалению, И. Зильберберг спутал термины и называет строчную букву прописной. Но по сути дела я с ним совершенно согласен.

## 6. Телем

По мысленным рельсам, проложенным острым глазом Надежды Яковлевны, жизнь Иры должна была катиться от наслажденья к наслажденью и от лжи ко лжи. Стихи Осипа Эмильевича Мандельштама на этом пути могли сохраниться только так, как Тарасенков хранил любовь к Пастернаку. И лучше было бы прекратить это кошунство.

А между тем, все пошло иначе. На последнем курсе университета Ира оставила своего военно-тылового мужа и вышла замуж за бывшего арестанта, сактированного умиравшим с голоду и жившего по паспорту, выданному на основании ст. 39.

Трудно сейчас представить себе, как сильно сближало тогда простое доверие. Симпатии Иры к Виктору не выходили за рамки дружбы. Но выслушав его предложение, она сразу согласилась. Устала от нараставшей фальши, от сцен за мнимые и действительные измены и от собственных вспышек в ответ на конформизм Сергея (как раз незадолго вышла из-за стола, хлопнув дверью, и два часа ходила по улицам: Сергей стал оправдывать государственными соображениями отказ пускать одесских евреев назад из Ташкента в Одессу). Искренность и понимание казались в эту минуту важнее всего.

Сергей грозил застрелиться. Ира не поверила, сказала: стреляй! Он приложил дуло к виску... вышла осечка. Или не был спущен предохранитель? Или не заслан патрон в канал ствола? Других попыток самоубийства не случилось. Случился донос. Но донос тоже не помог: подшили к делу, в ожидании случаев, когда спущена будет разрядка арестов и придется вышолнять план. Случай пришел три года спустя. Сергей в это время был давно женат вторым браком.

Не надо думать, что он был каким-то необыкновенным мерзавцем. Ревность хватается за то, что под рукой, как пестик Мити Карамазова. И Сергей чувствовал себя вправе махать пестиком. В 1955 году, когда дух времени требовал отказываться от показаний, подтвержденных в 1949 г., он все равно настаивал, что показал правильно. Страсть всегда считает себя правой.

В этой страсти было что-то рогожинское. И может

быть потому Ира стилизовала Виктора под Мышкина. Даже недостатки Виктора, напоминавшие мышкинские, ее радовали. Виктор стал ее синей розой (она очень любила песню про Мичуан-люли: чтоб всегда цвели в Мичуан-люли синие розы!) А Виктор, по-видимому, подчинялся ее ожиданиям и не мог преодолеть известной скованности (так, словно она действительно была синим чулком). Кончилось тем, что он увлекся женщиной попроще; накануне ареста он всерьез думал о разводе.

Ира не замечала, что в житейской беспомощности Виктора, в его неспособности вымыть стакан или пришить пуговицу была избалованность единственного сына и уверенность интеллектуала, созданного из головы первородства, что посуду вымоют люди других каст; что это не любезность, а долг по отношению к нему. Виктор был умен, честен, мягок, но одаренность делала его эгоцентричным (недостаток, глубоко связанный с достоинством, и поэтому почти непреодолимый; особенно если не сознавать его как недостаток). За мягкостью его скрывалась своего рода гордыня.

Как-то мы прогуливались по дорожкам лагпункта, и Виктор очень мягко, сдержанно, объективно (и потому очень долго) доказывал свое интеллектуальное превосходство. Когда он кончил, Евгений, терпеливо выслушавший доказательство, коротко возразил: а я думаю, что Я всех умнее.

Виктора (взятого с должности заведующего кафедрой) очередной раз покорило от дерзости студента-первокурсника. Впрочем, потом эти выходки простились Евгению за провокационную остроту его ума. Но меня поразило другое. Слушая Виктора, я думал то же, что Евгений; только не сказал вслух. Наша тройка лагерных мыслителей представилась мне вдруг тремя Поприщинами, воображающими себя каждый по отдельности Фердинандом VII.

Наступила пауза в разговоре; мы вошли в сортир оправиться; сквозь круглые дыры настила видна была жижа, казавшаяся живой — так много в ней копошилось червей. Почему-то эти черви вдохновили меня: может быть, вспомнился Державин? Я раб, я царь, я червь, я Бог. . . На какой-то миг я почувствовал себя червем, тварью дро-

жащей, и сказал двум кандидатам в Наполеоны: "Ну что ж, оставляю вас бороться за первое место; себе я беру второе". Это прозвучало как шутка, но внутри меня все дрожало. Отказаться от претензии на первое место было мучительно больно. Примерно, как пройти через увечье, через ампутацию руки или ноги, через какой-то невыносимо тяжелый обряд инициации. Это было (я потом понял) инициацией в смирение. Только пройдя через него в жизни, я заметил у какого-то классика XIX века: может быть, самое главное для человека — это удовлетвориться вторым местом (а раньше читал — и не замечал).

У меня были и прежде, и потом более яркие переживания. Но это, мучительное, я считаю одним из самых глубоких; после него я легко уступаю первое место всем, кто на него претендует, вплоть до Никиты Сергеевича Хрущева, когда он, после XXII съезда, несколько месяцев претендовал на лидерство в освободительном движении (потом у него эта дурь прошла). Задним числом я благодарен и Виктору, и Евгению, и даже лагерным червям за полученный урок. К несчастью, сам Виктор этого урока не заметил.

Мышкиным он не был. Но он знал время взлета, когда судьба вытряхнула его из абстрактного царства науки (которой он отгородился от жизни, как Лужин — шахматами)\* и разбудила удивительные, неожиданные для меня силы. На этом взлете он попал в Ташкент, встретил Иру, влюбился в нее (хотя тонкий психолог, вероятно, отличил бы его чувство от любви) и вместе с Ирой, в промежутке между двумя проработочными кампаниями, создал Телемскую обитель. Потом, измученный шестью годами лагеря, он жалел о том, что тратил себя на что-то, кроме основного, главного (науки) и ворчал на Иру: развела там Телем... Но это неправда. Это клевета на самого себя. Без Иры Телем не был бы построен. Но строили Телем тогда, в 1946-1949 гг. вместе, душа в душу.

Виктор получил кафедру в провинциальном университете и, пользуясь недосмотром начальства, приглашал формалистов, выгнанных из столиц; давал приют людям,

---

\*Ср. В. Набоков. Защита Лужина.

которые в другом месте были бы немыслимы, вроде Исидора Л., гражданина Союза без году неделя, прибалтийского еврея, ревностного лютеранина, пропагандировавшего Райнера Мариа Рильке и (самым близким) Евангелие. "Крепчал маразм"\*, а на кафедре литературы совершались платоновские пиры. Впоследствии Ю.Ш. назвал такие уголки "экологическими нишами". С середины 50-х годов они не переводятся. Но Телем в конце сороковых — единственный известный мне случай.

Ира читала литературу "от Гомера до Фэррера", по 10 часов в день, освобождая Виктору время для докторской диссертации, с грехом пополам кормила и обстирывала своих детей (Виктор по житейской беспомощности был третьим ребенком) и чувствовала себя счастливой. В отношениях с Виктором царил полная открытость. Письма читались вместе, и даже друг за друга (впоследствии Ира пыталась ввести такой ритуал и со мной; но после первого опыта я убедил ее, что делать так нехорошо по отношению к друзьям, не знавшим и, может быть, не желавшим знать меня. Она очень нехотя согласилась). Не было (в первые годы) никакой утайки, не только скелета в шкафу — ни чего скрытного, и была нежность.

Настоящую нежность не спутаешь  
Ни с чем, и она тиха...

Эти стихи Ахматовой настолько слились для Иры с Телемом, что потом, когда я попытался прочесть их, Ира меня перебила. Она не могла их слушать. Они обманули ее и вызвали в памяти мучительное чувство прорванной декорации, за которой оказалась яма.



Наступила очередная полоса проработки (1949), и в поисках козла отпущения взоры начальства упали на Телем. В маленьком городе все становится известным. Телем был предупрежден; но дошла только новость, факт, а не

---

\* Шутка Ермилова, вошедшая в пословицу.

волна страха, бежавшая по стране, приводя кроликов в оцепенение перед удавом. Не знаю, что тут решило: тесно сбитый дружеский круг? Жертвы кампании повсюду были разобщены, не решались сбиться в кучку, а здесь особый нравственный микроклимат оказался сильнее советской зимы. Новость обсудили, как новую нелепость, новую забавную гримасу, и решили дать встречный бой: обвинить проработчиков в том самом космополитизме, за который всех били. Пошли в библиотеку, изучили старые статейки и брошюрки секретаря и членов парткома, выписали цитаты (совершенно естественно звучавшие в 1933 г. и чудовищно — в 1949), и когда агнцам, приготовленным для заклания, дали слово, чтобы они покались — агнцы бросились на волков и изрядно их пободали. Проработчики потом шамкали по бумажкам свои речи, но выглядело это по-трамвайному: сам дурак, сам сволочь. Никто из местных руководителей в 1949 г. не умел говорить; а Ира, по крайней мере, была прекрасным оратором (я помню, как мы — спиной к спине — сражались в кольце комсомольских пропагандистов на фестивальной выставке 1957 года) . . . Вместо зрелища шатающихся интеллигентов, высеченных за непонимание генеральной линии, обнаружилось колебание самой линии — то, что все, по законам двоемыслия, не смели знать. В Москве или Ленинграде за такую фракционную выходку немедленно было бы заведено судебное дело на весь Телем; но в провинции всякое случалось. Там могли и перегнуть, и недогнуть. Арестован был только Виктор, на которого все равно готовилось дело в связи с инструкцией об изъятии недосидевших.

Потом началось следствие. И на следствии — письма...

Как только Ира опомнилась, она побежала предупредить разлучницу: могут и ее запутать! Разлучница (у которой рыльце было в пушку) чувствовала себя неловко; но Ира затопила и покорила ее выражениями своей дружбы (хотела доказать себе самой, что стоит выше ревности). В конце концов возникли даже в самом деле дружеские отношения. Потом, когда стали известны показания разлучницы против Виктора, Ира судила ее очень мягко, больше отыскивая объяснения и оправдания, чем осуждения: не выдержала нажима, боялась разоблачения перед мужем.

"Я ей тогда наговорила гораздо больше (чем Виктор); но на меня ведь она не донесла!" — добавляла Ира. Это было правдой. Разлучница не была профессиональной стукачкой.

На Виктора, попавшего в лапы к ним, сердиться было вовсе невозможно. Напротив, всем сердцем хотелось оправдать его. Перенеся действие в какую-то условную, средневеково-романтическую Германию, Ира писала повесть "Магдалина", герой которой страдает и гибнет от нравственной пытки в тюрьме, не в силах вынести предательства своей возлюбленной; но на самом деле никакого предательства не было; кошмар создан следователем, Гейслером (Порфирием Петровичем):

"Белый-белый лунный свет добирается до моих глаз. Мне кажется, что я чувствую, как от его влажного холода тяжелеют и немеют пальцы руки и ступни, наливаются бессонной тяжестью веки.

Где-то за окном полнолуние, и я знаю это, хотя и не могу увидеть большую белую луну. Это одна из причин, почему я третью ночь не могу спать: Но все-таки это не главное. Главное — это голоса... Совсем незнакомые голоса, и высокие, и низкие, и грубые, и нежные, просят о чем-то, убеждают, шепчут, рассказывают, но слов я не могу разобрать...

Я опять закрываю глаза, и голоса принимаются за свое... Я знаю, нелепо ждать чуда, но не могу с этим бороться: а вдруг среди этих незнакомых голосов прозвучит тот, который ни с чем не спутаешь, медленный и нежный, и пусть бы он меня убеждал даже без слов, — я поверил бы ему и так, лишь бы в нем слышен был протест ("Все это ложь с начала до конца", — перевел бы я словами), грусть и упрек ("Как ты мог поверить им, а не мне?")...

Но вместо этого в круг притихших голосов, как паук, вползает голос советника Гейслера..."

"Мне кажется, что черви живут в самой середине золотых яблок... Если я выйду когда-нибудь на свет божий, я кончился как художник... Разве ты этого не понимаешь? Я должен вернуть себе веру в стойкость, в красоту. . ."

Вся повесть — романтическая идеализация изменника и разлучницы:

"Напрасно так равнодушно-иронически относятся к Неосознанному и Непредвиденному! Оно может вдруг вы-

пустить когти — и ты бессилен, оно может выдвинуться, как мыс неведомого мира, в твои будни — и разрушить их... Странные, неожиданные поступки людей, которые можно назвать срывами, совершенно не зависят от их разума и воли, действующих в обычное время!

Что сказать, например, о человеке, сидящем в кругу друзей, рядом с той, которая похожа на легкую пружинку, на живой огонек, которая горда, вспльчива, энергична и смешлива... Да, он смотрит на нее с нежностью, ... но кто-то вошел в переднюю — конечно, это запоздалый товарищ, который зато и останется без пирожного к чаю! Он идет его встречать с легкой шуткой, готовой сорваться с губ! И вдруг в полутьме он видит нестерпимо знакомую серую меховую шубку и большие укоризненно строгие глаза... Нет, ее здесь не может быть! — Но это она, единственная, горько любимая, далекая — скорее, скорее, ни о ком, ни о чем не думая, упасть на колени, остановить коротенькое, секундное, сумасшедшее счастье... Он зовет ее, громко зовет по имени, бросается к ней — и падает, ударившись виском об угол сундука. . ."

Однако герой "Магдалины" — не Виктор. Ира объясняла мне, что придала черты Виктора рассудительному Даниэлю, а главному герою — черты своего брата, поэта Владимира Игнатъевича, отсидевшего 10 лет и умершего в Сибири в 1952 году. Но я вижу в узнике ее собственные черты, ее собственную философию Неосознанного, Непредвиденного — и ее собственное страдание от интимного предательства Виктора, писавшего, что он никогда не любил Иры, потому что Ира — синий чулок. Ей хотелось, чтобы и это предательство как-то оказалось сном, наветом. Но она не забывала его. Синий чулок — выплывает в "Царевне-Колокольчик" (вариант 1951 г.):

"Иза как-то подвергла меня анализу в течение пары скучных лекций и со всей озадачивающей откровенностью поделилась результатами. Девушки считают меня синим чулком, — сообщила она, — но ей кажется, что с этим нельзя полностью согласиться. Почему у меня иногда бывают какие-то странные глаза, от которых становится не по себе? — для синего чулка это не типично! . ."

В переписке с Виктором Ира усилием воли стилизова-

ла совершенное прощение и верность, и в жизни она, по крайней мере внешне, выдержала принцип — до отказа Владимиру Ивановичу. Но сердце ее было пусто; а этого состояния она не умела выносить. Слова "пустое сердце" все время мелькают в записных книжках: "только бы не пустое сердце!"

Когда Виктор вернулся, романтическая декорация прорвалась.

Начался кошмар недомолвок — и затянулся года на полтора. Виктор стал искать причин, почему Ира изменилась. Но судить себя по чужим правилам Ира не разрешала. Даже за то, за что сама себя — судила. Виктор отступил. Бесконечно усталый, он не решился, после одной мучительной для обоих попытки, "выяснить отношения". Ире казалось, что он не может без нее обойтись. А он мечтал, что она как-нибудь сама, без объяснения, соберет вещи и уедет. К какому-нибудь прежнему любовнику.

Тихая полоса недомолвок оказалась тяжелее следствия. У Иры открылась новая каверна, какая-то фиброзная, не поддававшаяся лечению. Врачи предупреждали, что третья вспышка будет летальной и жить Ире осталось — по их медицинской статистике — не больше десяти лет (вышло — из-за роковой операции, обещавшей перебить процесс - четыре года). В санатории, отдыхая от прелестей брака, в котором нараставшая ненависть постепенно сжигала старую привязанность, Ира еще раз пересмотрела свою жизнь и набросала тетрадь суровых заметок — к несчастью, пропавших. Суть их, впрочем, можно выразить стихами Ахматовой:

Какая есть. Желаю вам другую —  
Получше. Больше счастьем не торгую,  
Как шарлатаны и оптовики\*.  
Пока вы мирно отдыхали в Сочи,  
Ко мне уже ползли такие ночи,  
И я такие слышала звонки! . .  
Над Азией весенние туманы  
И яркие до ужаса тюльпаны

---

\*Ира знала стихотворение в такой (смягченной) редакции.

Ковром заткали много сотен миль  
О, что мне делать с этой чистотою  
Природы и с невинностью святою,  
О, что мне делать с этими людьми!..  
Мне зрительницей быть не удавалось,  
И почему-то я всегда вторгалась  
В запретнейшие зоны естества,  
Целительница нежного недуга,  
Чужих мужей вернейшая подруга  
И многих безутешная вдова...

Суть здесь не в том, что Анна Андреевна (или какая то ее читательница) была подругой чужих мужей, а что б ы л а . Я думаю, что огромное влияние Ахматовой на современников объясняется не только тем, что она писала хорошие стихи. Стихи сами по себе не объясняют массового желания лично видеть Ахматову, представиться ей. Ира такого желания не испытывала. Хотя стихи Ахматовой очень любила. Ира сама б ы л а (вспоминаю ответ графа Толстого, отца Льва Николаевича, на замечание, что NN стал шталмейстером: "У меня есть свои шталмейстеры"). Люди знакомились с Ирой для того, чтобы она их познакомила с Лидией Яковлевной, а Лидия Яковлевна "представит"... Ира знакомила — и сама оставалась непредставленной. Страсти поклонников Анны Андреевны вызывали у нее недоумение: петербургская привычка представиться ко двору? Но вот я вспоминаю В., долго вынашивавшего потребность быть представленным Анне Андреевне, добившегося этого и ставшего чем-то вроде ее пажа. Тут скорее потребность утвердиться феодальным "омажем", инкорпорацией в высшую иерархию бытия. . .

## 7. На развалинах Телема

В 1942 году у Виктора была полоса взрыва жизненных сил. Попав в окружение, он догнал фронт, выдавая себя немцам за малограмотного мусульманина, бредущего в родной аул. Не дрогнув ни одним мускулом, выслушивал, как ландзеры переговаривались: кажется, он еврей...

А, пусть идет к матке! . . . Виктор пробрался к своим — и через несколько дней был арестован за измену Родине. Во время следствия его привязывали к столбу и инсценировали расстрел (за то, что не сознается). Он все-таки не сознался; недоказанная измена отпала, осталась однако статья 58-10: антисоветская агитация и пропаганда, 10 лет (не мог припомнить никаких немецких зверств и клеветал на кубанских казаков, будто бы встретивших победителей хлебом и солью). В тифлисской тюрьме, набитой до предела и сверх всяких пределов, умиравших с голода активировали, невзирая на статью; Виктор (с риском умереть, если комиссии в подходящий момент не будет, и быть расстрелянным, если его трюк заметят) перестал есть даже то, что давали. Комиссия явилась вовремя. Он был сактирован. Дистрофиком добрался до Ташкента, по свидетельству об освобождении восстановился в аспирантуре. С паспортом на основании ст. 39, прячась от облав, защитил диссертацию. . .

В 1948 г. он зашел в книжную лавку писателей, где я тогда служил продавцом (совсем как в фильме "Мы вундеркинды"). Я знал его в институте — мы занимались в одном семинаре. — Тогда мне казалось, что ему чего-то не хватает; может быть, просто жизненной энергии. Я был поражен, увидев другого человека. От него просто веяло энергией, силой. Никакой заторможенности архивного юноши. Виден был человек, сразившийся с судьбой и вышедший из нескольких схваток победителем. Виктор горячо упрекал меня, зачем я прозябаю в Москве, звал в провинцию, где энергичному человеку открывается широкий простор... В провинциальных просторах я сомневался, но Виктор был несомненен. Его просто подменили.

Потом судьба свела нас в лагере. Мы одновременно сидели под следствием и хорошо отозвались друг о друге; встретились с радостью. Энергия, разбуженная войной и поддержанная Ирой, продолжала еще иногда вспыхивать в нем; опомнившись от долгого следствия, он стал одним из самых интересных мыслителей нашего лагпункта. Тогда и сложилась тройка, описанная в "Пережитых абстракциях". В жизни он был ярче, талантливее, чем в моем эссе.

В 1959 г., когда я редактировал "Абстракции", Виктор стал другим, и я внес отчасти в текст этого другого.

Перелом произошел в 1952 г. Как-то вдруг кончились силы и напал страх; обстановка становится все мрачнее, могут начаться лагерные расстрелы. . . Действительно, могут, — умом я это понимал, — но мало ли что может случиться! Виктор стал сторониться товарищей, слишком много, слишком горячо говоривших (со мной, впрочем, иногда перебрасывался несколькими словами, но не задерживаясь больше на долгий, многочасовой разговор). Все его поведение стало укладываться в штамп напуганного, стонящегося людей повторника, каждый миг чувствующего угрозу третьего срока. Виктор действительно был повторником, но до 1952 г. не вел себя, как повторник. Может быть, иссяк родник энергии, разбуженный в 1942 г., начало незаметно сдавать здоровье, и появилось особое чувство уязвимости, со своими, вырвавшимися из больного тела, страхами (я испытал это позже, в 1972 г.). Но болезни (понятные врачам, с укладкой в лазарет) начались после морального надлома. Может быть, не доглядели гипертонии, депрессии, чего-то ускользавшего от грубой лагерной медицины? А может быть — ослабела душевная связь с Ирой, поддерживавшая Виктора в образе, который она когда-то любила? В 1950, 1951 гг. Виктор радовался каждому ее письму, постоянно обращался к ней в мыслях, глядел на себя ее глазами — и уже потому не мог стать запуганным повторником. Но после разрыва с В.И. и воспаления легких Ира писала с огромным трудом. Письма не давали прежней поддержки. А силы убывали. А кругом действительно все шло, как в сказке (чем дальше, тем страшнее)...

Вернулся Виктор совершенно измученным, искалеченным небрежной хирургией и с одним желанием: все, что осталось, отдать науке. Это было серьезно (его работы с академической точки зрения — образцовые и стали в своей области стандартом). Но Иру в однолинейную жизнь, двигавшуюся от одной научной проблемы к другой, нельзя было втиснуть. Если бы даже не было всего, что особо разделило их в 1949-1955 гг., сами характеры переменились. В 1946 г. встреча их была благословением и счастьем, в 1955

— мучением и гибелью. И не потому, что кто-то виноват (или оба виноваты). Просто они стали за шесть лет другими, и этим другим людям стало невыносимо трудно жить вместе. Толкуй после этого о нерасторжимости брака...

В 1956 г. умерла мать Виктора. Я предложил телеграфировать Ире, уезжавшей в Ленинград. "Не надо, не хочу видеть ее крокодиловых слез", — неожиданно сказал Виктор; его прорвало. До этого он избегал жаловаться мне (у него был другой конфидент; ему он жаловался непрерывно; но меня почему-то стеснялся. Может быть, неловко было ломать образ Иры — из золота и лазури — им же нарисованный в лагере). На волне сочувствия (мне было очень жаль его) казалось, что я проглочу все; и в течение часа был нарисован образ другой Иры; этой дьяволице не хватало только рогов и копыт. Я мысленно сравнивал голубого ангела (сбивавшегося в синий чулок) с черным демоном, вспоминал живую Иру, ее интонации, нежность к детям, открытость к друзьям. . . В Викторе говорила ситуация разрыва, уже осознанного как неизбежный, но еще не совершившегося (трудно переступить какой-то порок); ум старается помочь воле и подбирает все дурное, что можно вспомнить, и сгущает, сгущает краски. . . Мне это было не нужно; в демонизм Иры я не поверил. Наоборот: стало интересно, что за характер скрывается за двумя такими несовместимыми портретами. Мелькнула двойная мысль: вот еще одна милая женщина, с которой может что-то получиться. Но зачем мне это? Туберкулез легких и двое взрослых детей. . . Вслух я сказал первое, что пришло на ум и казалось дельным советом: надо разойтись. Виктор безнадежно махнул рукой. В состоянии бесконечной усталости развод, а потом размен квартиры — казались ему чем-то физически и даже нравственно невозможным (в квартире жила память отца и матери). Виктор был убежден в своем праве: после всего, что он вытерпел, люди должны были избавить его от новых страданий. Я не стал спорить. Но жаль мне было обоих.

Через некоторое время он собрался в отпуск — один, отдохнуть от Иры, и попросил меня почаще навещать ее. Она тоже попросила. Я никогда не видел обоих такими взволнованными. Ему неловко было остав-

лять больную; ей (об этом я узнал позже) — оставаться в пустой квартире, угадывая в углах дух покойной свекрови (позитивизм не мешал Ире быть глубоко суеверной). Я твердо обещал бывать почаще и действительно стал ходить каждый второй вечер. Но спорить с Ирой мне было бы тяжело. Как собеседника, я предпочитал Виктора, привыкшего ко мне и находившего какие-то примирительные формулы (ум у него был очень гибкий, гибче, чем у Иры). Чтобы посещения не превратились в тяжелую обязанность, я предложил читать стихи. У Иры много было накоплено по блокнотам и просто в памяти. И тут на меня хлынула неожиданная стихия. . .

На людях Ира читала стихи корректно, сдержанно, чуть суховато. Так она начала и со мной. Вообще у нее была эстетика сдержанности. Но где-то, попав на любимые строки, душа не выдержала — и вдруг вся раскрылась. Она никогда ни на что не жаловалась мне, но я почувствовал все по тому, как она читала Ахматову (Какая есть!), Цветаеву:

Как живется вам с сотысячной,  
Вам, познавшему Лилит?

До сих пор мурашки пробегают по позвоночнику. Это не было чтение чужих стихов. Это было большим, чем перевоплощение актрисы...

Кажется, именно с этого началось. Со стихов, в которых вырвалось ее подавленное, невысказанное (она никогда не стала бы жаловаться мне, товарищу Виктора). Но потом так же пошло все подряд. И меня подхватило, понесло, как в любимом ее "Заблудившемся трамвае":

Поздно. Уж мы обогнули стену,  
Мы проскочили сквозь рощу пальм,  
Через Неву, через Нил и Сену  
Мы прогремели по трем мостам.

. . . . .  
Где я? Так томно и так тревожно  
Сердце мое стучит в ответ:

Видишь вокзал, на котором можно  
В Индию Духа купить билет.

.....

А в переулке забор дощатый,  
Дом в три окна и серый газон...  
Остановите, вагоновожатый,  
Остановите сейчас вагон!

.....

Понял теперь я: Наша свобода  
Только оттуда бьющий свет,  
Люди и тени стоят у входа  
В зоологический сад планет.

И сразу ветер, знакомый и сладкий,  
И за мостом летит на меня  
Всадника длань в железной перчатке  
И два копыта его коня.

.....

Пусть моралисты говорят все, что угодно. Добро не укладывается ни в какие правила, ни в какие заповеди. Какой-то немецкий философ (может быть, Якоби) сказал: я хочу быть прелюбодеем, как Паоло, убийцей, как Орест... Или что-то в этом роде, не помню буквально, но смысл — такой. Через две недели я проснулся в пять часов утра и понял, что влюблен. С этих пор я спал только по три-четыре часа и нетерпеливо ждал возвращения Виктора, чтобы объясниться с ним и подтолкнуть развод. Почему-то в готовности Иры сблизиться со мной я не сомневался.

Дождаться Виктора не пришлось. 24 августа меня вызвали в какое-то учреждение вернуть ордена, изъятые при аресте. Я ушел с работы в полдень, возвращаться не стал... Кажется, у меня был ключ от квартиры, или дверь была открыта — но я вошел неожиданно. Ира сидела у стола, опустив голову на руки. Лицо, медленно повернувшееся ко мне, выразило что-то вроде улыбки. Я впервые увидел, что она несчастная, в горе, почти в отчаянии (она терпеть не могла показывать это). Я знал, что Иру очень легко вывести из печали, она не любила растравлять страдания. Проще всего — принести бутылочку чего-нибудь сладкого

и крепкого. . . Через десять минут я вернулся с ликером. Ира действительно встряхнулась так, словно и горя никакого не было. Но я понимал, что это ненадолго, и стал в туманных выражениях говорить, что сказал бы больше, если бы. . . Ира почти не отвечала (потому что, собственно, ничего почти не было сказано), но по лицу ее я чувствовал, что все эти обстоятельства пустяки. Я весь горел (не от ликера). Покончив с бутылкой, мы сели, как обычно, читать. Не помню, на какой странице открылась антология русской лирики XX века. Взглянув в книгу, я увидел только одно: что читать не могу. Книга полетела на пол.

Через час (или через два, или через три) Ира потянулась к зеркальцу, сказала: "Господи, на кого я похожа!" и накрасила губы. С этих пор она всегда красилась и я докуривал ее алые чинарики. Иногда, когда здоровье возвращалось, она бывала еще очень хороша собой. Но я полюбил ее желтой, с посиневшими губами и в каком-то балахоне, в котором она весь роковой август красила мебель морилкой (заняться чем-то другим ей было трудно, а сидеть без дела еще труднее). Если бы она была кривой и горбатой, я все равно бы ее полюбил.

На другой день она встретила меня словами: "Я думала, что ты не придешь" (т.е. что меня заест совесть перед Виктором). Совесть меня действительно ела, но я уже прилепился к Ире, я стал с ней одной душой. Было больно мучить Виктора своим грубым вмешательством в его жизнь. Но боль за Иру была сильнее. Грех был и в том, чтобы прелюбы сотворить, и в том, чтобы прелюбы не сотворить. Второй грех был страшнее; я выбрал первый. Или судьба сделала выбор за меня — но так, что это стало моим выбором. Отказ от него был бы клятвопреступлением.

Любовь к Ире имела для меня такое же значение, как отказ от Ренаты — для Кьеркегора. Я не отказался от Иры. Я стал до конца собой в этом выборе. Не в интеллектуальных взлетах юности, не на войне, не в лагере (все это было только подготовкой к бытию, инициацией), а выбрав Иру и сумев довести свой выбор до конца, до мыслимых пределов земного счастья, через все нравственные и физические мучения, о которых я когда-нибудь расскажу. Так определилось несколько моих центральных идей. В этике: выби-

рать приходится между сталкивающимися и разрывающими тебя верностями долгу не умом, а всем собой, скорее "по благодати", чем "по закону". В политике: не доверяю спасителям человечества, или спасителям России, никогда не дарившим всего себя другому человеку. И так, до онтологии, до опытного знания чистого света, льющегося из глубины бытия через сердце, превращая в свет все, на что он падает. И если я иначе толкую "огонь" Паскаля, чем Флоренский, то потому, что у нас разный опыт\*. Для него — "огонь" — огонь ада; для меня — свет вечности, погасивший пространство и время. Каждый из нас может сказать, как Шанкара, в ответ на критику его идеи дживанмукта (освобожденного при жизни): об этом не стоит спорить, я это испытал.



30 октября 1959 г. Ира умерла, не встав с операционного стола. Светило яркое солнце, и по дороге в больницу мне казалось, что все будет хорошо. Оперировали 28-го, кризис прошел, теперь она выздоровеет. Но меня ждало остывшее тело. Пузырилась кровавая пена (видимо, вытирали с губ, но набежало снова). Плохо державшийся зуб выпал во время агонии. В русых волосах часто замелькала седина. За неполных двое суток Ира постарела лет на десять.

Я рухнул на колени и прижался к ней лбом. Зачем-то меня подняли. Видимо, надо было, чтобы внешне я не выражал горя. И с этой минуты я делал то, что надо было: поблагодарил врача, ассистировавшую при операции и не уходившую от Иры эти дни и ночи, пытаюсь вернуть ее к жизни (ее глаза, встретившись с моими, блеснули ужасом), потом пошел звонить мальчикам. Помню, что очень твердо ступал по лестнице.

После меня два месяца преследовала галлюцинация:

---

\*В подкладке камзола Паскаля найдена была после его смерти записка о двух часах созерцания, изменивших всю его жизнь. Переживание само по себе передано одним словом: огонь.

стоило закрыть глаза, и я видел себя разрубленным пополам вдоль позвоночника, левую половину похороненной на кладбище, а за правой волочились по тротуару кишки. Кошмар кончился в новогоднюю ночь. Ради мальчиков я встречал Новый год и после двух или трех недель тренировки сумел сказать, не заплакав: с Новым годом, с новым счастьем! Нехитрый обряд меня исцелил. Под утро, после встречи, приснилось, что рана затянулась и выпавшие кишки засохли и отпали. Больше галлюцинация не повторялась.

.....

В последние месяцы 1959 года и в первые месяцы 1960-го я написал несколько страничек, которые не могу здесь поместить: невозможно показывать все это чужим глазам, пока сам я жив. Приведу только несколько строк:

"Однажды она мне сказала, рассказывая о том, как потеряла здоровье: "Но я не жалею, что заболела: иначе бы я не встретила тебя". Я ответил: "Может быть, мы и так бы сблизились". — "Нет." — "Тогда лучше бы ты была здорова и никогда не видела меня". Она тихо покачала головой и сказала: "Нет, так лучше".

За один полно прожитый год Ира готова была заплатить жизнью. Она хотела жить до 80 лет, у нее есть запись об этом. Но полно прожитый год, даже один полно прожитый день был больше 80 лет, был целым веком. Отказ от риска сделал бы миг неполным. Она не могла отказаться от риска ареста или от риска смертельной болезни или от риска операции так же, как дон Гуан не мог не подать руки командору. Такие люди иногда живут до 80 лет и не переживают себя (они и в 80 лет полны жизнью). Но их ранняя смерть — не случай. Скорее, случай то, что Ира уцелела от репрессий.

Я не знаю, есть ли в открытости риску трагическая вина. Может быть, трагический рок. . . Нельзя жить, вторгаясь "в запретные зоны естества", без подвластности року, подстреливающему влет, не дожидаясь, пока устанут крылья, — в миг самого полного, самого напряженного бытия.

Эту Иру я любил, и что-то от нее в меня вошло и во мне ожило, когда кончились два месяца неотступной смерти и началась трудная, со следом смерти в душе, новая жизнь. Я дорого заплатил за свое знание любви, и я не могу злоупотреблять этим словом. Я понимаю любовь только в отношении к живому, непосредственно осязаемому: как человек, как музыка, как луч заката. Я хочу добра и России, и Европе, и всем 4 млрд. людей на земле. Но это не то, что я пережил как любовь. Надо найти какое-то новое слово для смеси чувства с убеждением, для переноса чувства на общие понятия (человечество, Россия), за которыми не одно, а множество людей и вещей. Я не против таких переносов, я пожалуй даже за них, но слово любовь хотел бы сохранить для другого. Я не могу вообразить себе множество живым существом и жить воображаемой жизнью с этим воображаемым собеседником. Я понимаю любовь к Богу в его второй ипостаси. Но не к избранному народу. Я воспринимаю как книжную метафору строку Блока: "Русь моя, жена моя. . ." Блоковские стихи о России переключаются в моем сознании с отношением Блока к живой жене, Любви Дмитриевне Менделеевой, как к мифологической фигуре.

Жизнь научила меня отличать реальность от мечты и принимать в самое сердце только реальное. Мечта может быть очень глубокой, страстной, заразной; но она рушится при столкновении с действительностью. Или заставляет ненавидеть действительность, сопротивляющуюся мечте. Ненавидеть врагов отчизны, врагов передовых идей, врагов своего плана спасения человечества и т.п. А любовь смывает ненависть. Если любовь есть, то нет ничего, что бы она не могла смыть. Нас с Ирой иногда выбивали из себя события (дело Пастернака, казнь Имре Надя и Пала Малетера). Мы заболели ими, мы откликнулись, как могли — а через несколько дней снова ничего не оставалось, кроме любви. Каждую ночь не оставалось ничего другого. И не надо было никакого переворота для счастья.

Любовь не рассыпается от прикосновения реальности. Она сама есть самая глубокая реальность. Рассыпается влюбленность в девушку, которую вы не успели толком

узнать, в социализм, при котором кошки не будут давить мышей\* в самодержавие, не имеющее ничего общего с самовластием. Рассыпается, оставляя после себя чувство обманутого доверия, и ненависть. А любовь — то, что не может обмануть. То, что не вдалеке и не в будущем, а теперь и здесь.

Мое отношение к России — это отношение к тому, что я вижу кругом. У этой жизни не одно лицо, а множество лиц и ликов. Я глубоко захвачен возможностями русской культуры, загадками русской истории, мне не хочется уезжать из этой страны. Я верю, что здесь могут быть новые взлеты вселенского духа, наподобие того, как у Рублева или Достоевского. Но очень часто Россия — русская политика, русский пьяный быт — вызывала во мне отвращение и стыд (чувство, совершенно немыслимое в моих отношениях с любимой). Я в каком-то смысле (хотя не так, как Иру) люблю всех Муравьевых, *которых* вешают. Мне не хочется их оставлять. Но я совершенно не люблю, ни в каком смысле, Муравьевых, *которые* вешают (а ведь это тоже Россия. Я не могу отмыслить их, как иногда это делают с Иваном IV или Петром I, или с Лениным и Сталиным. Чувство фальши не позволяет). Я не вижу перед собой реальности *истинной* России, с которой вдруг спадет все наносное и откроется небесное сияние. Личность может вместить в себя всего Бога; по крайней мере, в один какой-то миг. Но нация? Не думаю. В нации, в народе, в стране, в любой миг, есть и Алеша, и Иван, и Митя, и Федор Павлович, и Павел Федорович. . .

Мое отношение к России — захваченность. А любовь — это когда невозможно лечь спать, не смахнув недовольства, раздражения, ссоры, как крошки со стола. Когда никакая обида не выдерживает одного прикосновения друг к другу. И когда одно прикосновение снимает все невзгоды.

Ира не любила Московской Руси, не вмещалась, со своим независимым характером, в терем. Но ни в какой

---

\* Ср. Валентинов, "Встречи с Лениным", — странички, посвященные Кате Рерих.

стране, кроме России, ее нельзя себе вообразить. Одновременно широкую и собранную, европейскую и неуловимо незападную. У нее была своя родословная, в XIX веке; и свои сестры в наши дни (я говорю не о характере, о типе). Сильная женщина, берущая на себя то, от чего отступили мужчины — бесспорно русский тип; не московско-русский, но петербургско-русский и современный. Юлия Вознесенская уходит объясняться в Большой дом (и попадает в лагерь), а бородатые бабы остаются дома, нянчить детей, и потом рвут на себе волосы в Самиздате. Не знаю, где это возможно, кроме России.

В моей внутренней жизни 70-х годов Ира, оставаясь живым воспоминанием, постепенно превратилась в символ, потянувший за собой антисимвол — несобранной, рассыпающейся широты. С судьбой живого трупа, Феде Протасова, — или скрипача Ефимова, из "Неточки Незвановой", — или молодца из повести о горе-злосчастии.. .

Русское саморазрушение встало перед моими глазами в судьбе Толи Бахтырева — удивительно яркого, сократически одаренного собеседника, начавшего талантливо писать — и вдруг спившегося, по какой-то неведомой причине (или по совокупности причин), и в 1968 году найденного мертвым в своей запертой комнате. О подлинном Толе я пытался написать, но оставляю свои записки полежать год-два. Может быть, еще что-то прояснится. А сейчас буду говорить только о символе, в который Толя (Кузьма, как его обычно звали) превратился в моем уме, о факте моей внутренней биографии, без претензии, что это и есть Анатолий Бахтырев, автор посмертной книжки, опубликованной за рубежом под названием "Эпоха позднего реабилитанса".

Имена, в конце концов, можно переменить, И с какими-то другими именами останутся те же символы — русской живой широты и русского развала, единства личности вопреки всякой логике и распада недостроенного духовного здания, обещавшего охватить все и не удержавшего ничего. . . Оба эти типа — я не придумал. Но сейчас мне кажется, что они гораздо ближе друг к другу, гораздо теснее переплелись, чем сперва показалось. Я вижу сейчас в Кузьме и Ире больше общего и меньше различий. Оба очень рано

сложилось, медлили расставаться с молодостью, жили слишком широко, чтобы попасть в энциклопедию (попадают, большей частью, люди поуже, зацикленные на одной задаче). Оба умерли в последний год молодости — 39 лет. И в этом есть что-то таинственно общее. Ира была волевой натурой, Кузьме воли не хватало. Ира как-то умела подчинять себе кусочек жизни, в котором жила. Кузьма плыл по течению. Они оба оставались самими собой — больше нас всех.

Сейчас, кажется, только и остается, что быть самими собой — в большом течении, которое никто из нас не в силах повернуть. Мы все живем в доме, обреченном на слом, и будущему достанутся (если достанутся) только обрывки наших мыслей и чувств. Кто знает, что тут верно и что неверно, что считать победой и что поражением?

Году в 58-м или 59-м мы с Ирой читали дневники Венедикта Ерофеева (он оставил их Ириному сыну, а тот отнес нам). Мы оба думали, что талант Венечки, видный на каждой странице, гибнет от юродского решения вернуться в грязь, где остались товарищи и подруги по полярному поселку, не получившие золотой медали и не попавшие в Московский университет. Мы сделали бы все, что могли, чтобы отговорить от такой юродской соборности. Но Венечка (как его называл Володя), несмотря на приглашения, старательно не попадался Ире на глаза и гнул свое, чувствуя, быть может, "социальный заказ" поколения, погибавшего в пьянстве и свальном грехе...

Когда все кругом разваливается, этот развал не может не захватить личности. Иногда самый чуткий, самый ранним погибает от общей болезни, которую другие как-то переносят, или становится юродивым. Впрочем, что это такое, юродство? И вправде ли я на него смотреть со стороны? Почему современного человека тянет к юродству? Почему сейчас возрождается целое направление русской литературы, подпольное и юродское — движение не из Москвы в Петербург и не из Петербурга в Москву, а "поперек и в сторону" — как я подумал, читая "Прогулки с Пушкиным", а потом буквально прочел там, слово в слово: "поперек и в сторону"?

Недавно, в прачечной, мне предложили записывать полотенца не в бланк для *прямого* белья, а в *фасонное*; потому что администрация не в силах бороться с хищениями из цеха *прямого*. Я вдруг почувствовал краешек могущественного движения поперек и в сторону\*. Всесильное государство шаг за шагом отступает перед движением — не к правам человека и не к вере отцов, а к халтуре, пьянству и воровству. Неудержимое движение поперек и в сторону влечет к гибели народ, не сумевший отделить себя от государства, и государство, не способное отделить себя от народа. Подобно пожару Москвы, огонь медленного нравственного распада ведет нас, если не к победе добра, то к поражению зла. Сравнительно с этим могучим процессом все наши споры — не больше, чем жужжание мух на рогах вола. И действительность, обрисованная Ерофеевым, есть не накипь, не затхлый проток, а именно фарватер русской истории. История развивается не по Сахарову и не по Солженицыну, а по Венедикту Ерофееву, т.е. юродски. И всякий человек, остающийся в России, втягивается в юродство. Разумным надо уезжать.

Я сам, может быть, кажусь странным, неразумным, юродивым или юродствующим. Помню, как Александр Воронель в 1974 году, когда мы встретились в Коктебеле, воскликнул: "Так пишите в каждом своем эссе о России, что автор — еврей и даже не еврей, а еврейчик". Я ответил, что с 1967 года примерно так и поступаю, и время от времени напоминаю читателю, с кем он имеет дело (потом такие упоминания цитировались как образец моего дурного вкуса).

Юродство — одна из форм свободы, продолжение своей собственной биографии в стране, где биография не допускается, а есть только послужной список. Юродство — это свобода китайца (начиная с Чжуан-цзы), свобода русского, от нищего на паперти до генералиссимуса графа Суворова-Рымникского. Есть какой-то высший разум, ко-

---

\* Это именно чувство. Логической обязательности здесь нет ни на грош.

торый иногда оправдывает и юродство. Личность, растущая без собственной сердцевины, очень часто безрассудна: чужак в Англии, юродивый в России. Рассудок стремится к стереотипу, как вселенная к тепловой смерти. Мир существует, потому что есть безрассудные противотечения. Есть люди с памятью своей первичной глубины. Есть люди с тоской по этой глубине — или хоть с "томлением по томлению", как выразился Мейстер Экхарт. Одни из них выживают, другие гибнут. Не в том дело.

Цель творчества — самоотдача,  
А не шумиха, не успех.  
Позорно, ничего не знача,  
Быть притчей на устах у всех...

Но:

... окунаться в неизвестность  
И прятать в ней свои шаги,  
Как прячется в тумане местность,  
Когда в ней не видать ни зги...

Жить, всю силу души вкладывая в свое сегодня, — ничего другого нам не остается. А завтра придет новый толчок изнутри.

1974-1980

Генрих Белль

## НЕ ПЛАЧЬ ПРИ НИХ

В этой книге каждая строка говорит все и ведет в тот страшный и абсурдный космос, в архипелаг заключенных, который начинается от 130° восточной долготы. Эта книга *рассказывает*, она относится к категории "автобиографических романов", при этом слово "роман" в данном случае не означает чего-либо "выдуманного" — в книге нет ни одной, даже мельчайшей "выдуманной" детали — слово "роман" подразумевает структуру, организацию чудовищно большого материала жизненного опыта. Евгения Гинзбург не просто описывает голые факты или перечисляет даты, она вводит иное измерение: анализ и размышления об архипелаге абсурда в абсурдной стране, которая называется СССР. Еще один элемент книги, который я упоминаю не без колебаний, так как он может направить по ложному пути: напряжение. Это напряжение — не следствие литературных ухищрений, но сопереживания, соучастия, ибо с самого начала читатель спрашивает себя: Боже мой, как же эта женщина, в чьем двухтомном автобиографическом романе почти тысяча страниц, тысяча страниц о восемнадцатилетнем пребывании в лагере и ссылке, вышла оттуда живой?

Хорошо бы перед чтением или во время чтения иметь под рукой атлас либо подробную географическую карту, чтобы хотя бы абстрактно представлять себе то пространство, где происходят события. Эта географическая подготовка необходима для "прочувствования". Западная Европа простирается приблизительно до 25° восточной долготы, Восточная Европа, вплоть до Урала, — приблизительно до 45°, и оттуда, где начинается пространство, которое мы на-

---

Евгения Гинзбург. КРУТОЙ МАРШРУТ

зывается Сибирью, еще почти 130° до крайней восточной границы, которая достигает Аляски. От Якутска, где начинается "Островная империя" лагерей, до противоположного края Архипелага еще около 60°, и хотя долготы в северном полушарии сближаются — я знаю это! — все же это пространство достаточно велико, чтобы Западная Европа могла в нем несколько раз раствориться.

Все это называется *безбрежностью* — словом, которое для нас, живущих почти впритирку, может звучать заманчиво, но на Архипелаге оно означает ужас и является синонимом *затерянности*. На карте Восточной Сибири можно увидеть только редкие пункты, наименования, поселки. Они расположены друг от друга дальше, чем Мюнхен от Кельна. Восемнадцать лет провела Евгения Гинзбург на этом Архипелаге. Она была одной из первых, кто рассказал о нем. Уже в 1967 году, после выхода в Италии, "Крутой маршрут" казался книгой, которая навсегда останется столь же "свежей", как и в дни ее опубликования. Тогда Евгения Гинзбург писала в предисловии, что содержание книги — "воспоминания простой коммунистки времен культа личности". Вскоре после убийства Кирова ее арестовали. И не потому, что она *активно* принимала участие в какой-либо акции протеста, но потому, что она *не* выступила против недавно арестованного вредителя, и этим *не*-выступлением доцент и редактор Е. Гинзбург заслужила "пожизненное" звание "известной террористки", позднее даже "участницы группового террора". С этих событий начинался I-ый том "Крутого маршрута", за которым теперь последовал II-ой том. Хиоб в женском обличье, Лазарь в женском обличье, Одиссей в женском обличье оказался во власти не волн, не капризов погоды, не бурь, не морских течений, не своевольных обитателей побережий, но был брошен в хаотически организованный океан безгранично бюрократического абсурда, в котором довольно часто жестокость системы удесятерилась из-за жестокости отдельного лица, которое повелевало. Но в той же системе — такова уж выгода случайностей, которые я хотел бы назвать судьбой — появляются и "ангелы в человеческом обличье", которым в конце концов обязана Евгения Гинзбург своим спасением. Этот жизненный опыт относится к неправильно понимаемому "напряжению", которое лишь следствие того, что Евгения Гинзбург гениальная "рассказчица", и ей нет нужды что-либо придумывать, скорее наоборот: что-то опускать. Хотя я знаю кое-что об Архипелаге ГУЛаг, ни на одно

мгновение я не утрачивал интереса при чтении "Крутого маршрута". Возможно оттого, что эта удивительная женщина не потеряла чувства юмора. Оно не покинуло ее ни во время блужданий, ни во время пересылок — этих путешествий между адом и жалкими островками "рая". И это уже чудо! Еще одно чудо — и здесь можно только всплеснуть руками — это то, что сила и крепость духа, воля к жизни даже в самых безнадежных ситуациях не покидали ее благодаря поэзии. Как только Евгении Гинзбург выпадала минута покоя, минута, когда можно присесть, прилечь, перевести дыхание, к ней приходили стихи Ахматовой, Пастернака, Мандельштама, приходили романы, рассказы, вообще литература, все то, что русская женщина своей эпохи просто носит *в себе*. Это та собственность, которую нельзя конфисковать, которая пройдет сквозь все обыски. В лохмотьях, обессиленная, униженная, на рубке леса при — 49°, — а вечером в бараке, где, казалось, должно было бы говорить только о самом элементарном, о супе, хлебе, тепле, огне — стихи!

Относятся ли стихи к чему-то насущному для такого редкого сорта людей? После многочисленных встреч с советскими гражданами, заключенными и не заключенными, я склонен ответить "да". В Западной Европе к литературе относятся с некоторым легким пренебрежением, для Западной Европы литература располагается где-то между роскошью и пороком, во всяком случае она нечто лишнее. Но для Евгении Гинзбург литература соседствует с самой жизнью. Литература была более, чем литературой для этой "известной террористки". Стихи стали знаком общности — не в смысле механического кода, но во всей своей полноте. Встретившись после 17-летней разлуки с сыном Васей, Евгения Гинзбург читает ему ночью стихи, и он продолжает читать в том месте, где она остановилась. Благодаря этому мать "узнает" сына.

В воспоминаниях Евгении Гинзбург деликатно и в то же время вполне откровенно описан и проанализирован феномен, относящийся не только к жизни, но и к спасению жизни: любовные отношения внутри лагеря-архипелага. Эти "жизненные подробности" ничего не меняют в постоянном "присутствии ужаса", постоянной угрозе перемен и даже усиливают этот ужас. Всегда можно быть отправленным из лагеря Эльген (на якутском это означает "мертвец"), который сам по себе достаточно плох, в Мылгу, которая просто ужасна, а затем оказаться выше еще одной

ступеню ужаса — в Известковой. В этом двоевластии абсурда и случая всюду подстерегает "инструкция", толкование которой открывает возможности для садизма, открывает новые неизмеримые пространства для ужаса. Таким случаем может быть и радиопостановка "Волк и семеро козлят", и дурной отзыв о нацизме — ведь идет только 1940-ой и для Советского Союза война еще не началась, и — в "прогрессивности" гитлеровского режима (то-бишь автострады, борьба с безработицей) до июня 1941 года сомневаться нельзя. Все всегда висит на волоске; радуйся синице в руке; твой дом — не крепость.

Восемнадцать лет жизни, от тридцати до пятидесяти, провела Евгения Гинзбург на Архипелаге ледникового периода. В течение этого времени умер в Ленинграде от голода ее старший сын Алеша, пропал муж, где-то жил, разлученный с матерью в четырехлетнем возрасте, сын Вася, которого она вновь увидела уже шестнадцатилетним. После упорной борьбы Евгения Гинзбург добила для сына разрешения на въезд в Магадан. Васю привезли вольные. На квартире у вольных же, то ли знающих в чем тут дело, то ли нет, она встретила с сыном. И юный Аксенов, столь же взволнованный, как и мать, прошептал ей: "Не плачь при них". Этим шестнадцатилетний юноша сказал больше, чем часто говорит целый роман. В этой фразе — его принадлежность. "Не плачь при них" — значит он был, как позднее скажет мать, из "наших", из "подпольного государства".

Это подпольное государство объединяет миллионы, паролем которых могло бы стать: "Не плачь при них". При ком же это нельзя плакать? Кто они? Запутавшиеся, не ведающие, сами споткнувшиеся; лишенные воображения, всегда верящие, что без вины никого не арестовывают; та всемирная масса, кого без обвиняков можно назвать обывателями, мыслящими только своими кошелками и корзинками. Позже все они появятся в рассказах и романах Василия Аксенова, чья биография до восемнадцати лет описана в двух томах "Крутого маршрута". Это тот самый Вася, пестрый пиджак и дикая прическа которого, даже после шестнадцатилетнего пребывания в ледниковом периоде, так огорчают мать. Она сама узнает в себе "бывшую комсомолку". Но Вася, студент-медик, не расстается со своим пиджаком и прической. Они тоже — и здесь его не собьешь с толку — хоть и во-вторых или в-третьих свидетельствуют о "новых временах", которые Аксенов несколькими годами спустя выразит вместе с Евтушенко, Вознесенским,

Ахмадулиной, Окуджавой, о тех "новых временах", которые заявили о себе в открытую и которые с последующим поколением Войновича, Корнилова, Владимова и других вновь были загнаны в подполье. Для такой строки как "не плачь при них" можно найти десятки толкований. Некоторые утверждения стоят того, чтобы их процитировать, к примеру, мысль о том, что эгоизм страдания более объемлющ, нежели эгоизм счастливых, или, что еще важнее: "Нет, не только чужой, но и собственный опыт ничему не учит", или лаконичномеланхолическая фраза, брошенная Евгенией Гинзбург, когда ей пришлось волочить домой впервые напившегося после выпускного школьного вечера Васю: "классически-русская роль".

Затем невероятное, но все же предсказуемое: волна повторных арестов в 1949 году. Вновь, хотя десять, или шесть, или двенадцать лет отбыто и ты уже "освобожден" — допросы. Я могу себе только представить, какие горы досье пришлось транспортировать, сколько регистратур, регистраторов, чиновников, замов и всякой мелкой сошки должны были этим заниматься, и во сколько обходились все эти привилегии привилегированных!

Яков Михайлович Уманский, собрат Евгении Гинзбург по страданиям, составил схему "Социальное и политическое устройство Колымы". Он обнаружил десять различных сословий: "Зэка, бывшие зэка с поражением и бывшие без поражения, ссыльные на срок, поселенцы на срок и ссыльно-поселенцы пожизненные, спецпоселенцы-срочники и спецпоселенцы-бессрочники. Здание увенчивали немцы-поселенцы-партийцы". Если бы Уманский включил в свою схему еще и сословия вольных, то вышло бы куда больше категорий.

Разобраться бы — пусть приблизительно — в набросках биографии врача Антона Вальтера! Он объединял в себе три смертельно-опасных, хотя и не террористических, свойства: немец, католик и гомеопат (понимай: мистик, почти шарлатан). И несмотря на это, его — именно его — приглашают в неотложных случаях к бонзам, страдающим чаще всего печеночными заболеваниями. Его эликсиры из растений, его настойки и корешки, которые он сам изготавливает, желанны и действенны. Он же несет в себе и другое противоречие: так как Вальтер слывет "хорошим человеком" и в то же время является немцем, то возникает вопрос, как может такой хороший человек быть немцем. (Этот вопрос можно, конечно, перевернуть). Все это не

укладывается в расхожие штампы, если даже задуматься над тем, что Энгельс и Маркс тоже, возможно, были немцы и писали по-немецки. Но нельзя же ожидать хотя бы минимума логики или хоть намек на здравый смысл от системы или порядка, при котором кто-то ошибочно попадает в морг, но оказывается настолько бессовестным, что не умирает, так что его можно обвинить и припереть к стене вопросом: что он, живой, искал среди мертвецов?

Так как сам я родом из "Отечества", которое мило-стиво дарит меня "родным языком", то мне не может не броситься в глаза, — как комета, которая вновь и вновь загорается на сумрачном небе, — что Евгения Гинзбург — ее имя оканчивается на "бург", но ее, еврейку, в начале войны сочли за немку, за что она понесла дополнительное наказание — что Евгения Гинзбург вновь и вновь говорит о стра-не, откуда она родом и к которой она устремлена, как о "Родине". И это слово ударяет в меня, вспыхивает во мне вновь и вновь и заставляет размышлять. Я не знаю, сделан ли уже сопоставительный анализ различий между немецкими концлагерями и советскими исправительными (все же Евгения Гинзбург констатирует: "Нас не волокли в газовые камеры или на виселицы"). Я не могу позволить себе судить, где обращались "человечнее" -- там или здесь. Возможно, слова "Отечество" и "Родина" могли бы послужить основанием для сопоставления и могли бы объяснить, почему книги об Архипелаге ГУЛаг более ценимы здесь, чем книги о концлагерях.

Я не хотел бы обойти молчанием того, что пишу эту заметку не только как современник, который благодарен за каждое свидетельство о веке, в котором живет, пусть даже это свидетельство неприятно "Отечеству" или "Родине". Мои строки — это также дань памяти умершей, которую я позволяю себе причислить к своим друзьям. Мы сидели с Евгенией Гинзбург друг против друга в Москве и Кельне. Я восхищался ее умом, а на меня испытующе смотрели ее глаза, в которых не угасал скептический юмор. Я пишу эти строки также для моего друга, писателя Василия Аксенова, которого я впервые встретил еще юношей, когда он после долгой разлуки увиделся со своей матерью и вновь расстался с ней. Эти строки посвящены также памяти еще одного человека, которого я никогда не знал, но с которым я так охотно познакомился бы: памяти врача Антона Вальтера.

*Перевели с немецкого : О. Квиринг и И. Померанцев*

Андрей Синявский

## СРЕЗ МАТЕРИАЛА

В лагере мне рассказали мифическую историю — о том, как советские зеки послали весть о себе, впервые открыв миру тайны сталинской каторги. Конечно, отчасти это обычный плод пылкого народного творчества, но такая легенда ходит по зонам, обрастая подробностями, передаваемая от одного лагерного поколения к следующему, на правах неоспоримого факта.

Вскоре после войны, рассказывают, где-то в глухой тайге, недалеко от океана, многие заключенные, избавляясь от непосильной работы, в отчаянии рубили себе руки топором. Отрубленные пальцы и кисти рук закладывались в бревна, в пачки великолепного строевого леса, обвязанные проволокой и предназначенные на экспорт. Начальство не доглядело, спеша зеленое золото обменять на золотую валюту. И поплыл драгоценный груз в Королевство Великобритании. Англичане тогда особенно хорошо покупали советский лес. Только смотрят, развязав пачку, — отрубленные руки. Выгрузили вторую, третью: опять между бревнами человеческое мясо. Смекнули догадливые британцы — что это значит, откуда дрова? — Нет, мы не можем себе этого позволить! — воскликнула Королева, выступая в английском парламенте. — Нельзя покупать дерево, добытое такой ценой!" И расторгли большинством голосов выгодную торговую сделку. С тех пор, говорят, англичане никогда не покупают первосортный советский лес...

---

В.Шаламов. КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗЫ

Сказка. Мечта. Вечная мечта загубленного человека о высшей справедливости. Дескать, существует еще на свете Королевство Великобритании, брезгающее советскими тюрьмами. Рубите руки в доказательство правды! Они — поймут !..

И ведь действительно — рубили. Не ради пропаганды, с отчаяния. Может быть, кто -то и закладывал в дрова : доплывут. Только вряд ли тот сигнал, обращенный к Господу Богу, дошел до Англии. А если бы и дошел? — Что с того?

Выслушав эту басню тогда, я подумал о Шаламове. Вот уж у кого не было иллюзий. Без эмоций и без тенденций. Просто запомнил. Рубят руки? — это верно. Демонстрация фактов? — да. Но чтобы кто-нибудь понял, пришел на помощь ? Да вы смеетесь. Торговля...

И все же — не сами произведения, но их судьба, судьба автора, Варлама Шаламова, чем-то напоминает эту лагерную легенду. Доплыли "Колымские рассказы" по адресу. Сигналы, поданные отрубленными руками, мы видим. В Англии, во Франции. Да что толку!..

Рассказы Шаламова похожи на баланы, на распиленные на лесоповале бревна. Каждый отрезок — рассказ. Но бревен много, и все надо распилить. Кубометрами леса измеряются рассказы Шаламова. Тут и здоровый, крепкий человек не выдержит, поработав месяц-другой. А конца не видать. Люди валяются на лесоповале раньше деревьев.

Но, может быть, надо объяснить, что значит "лесоповал"? Каковы нормы выработки? Кто учетчик? Где мера? И какой пилой необходимо резать стволы? Сколько часов — двенадцать, шестнадцать в сутки — вручную, двурогой пилой, "жик-жик", пока перепилим?..

Теперь перенесем эту гору на тех, кто ноги едва таскает — не то, чтобы бревно или тачку. Помножим работу, равносильную пытке, на охрану, на бессрочную проволоку, на непрестанные побои и окрики : "— Давай! давай!" И на голод, как оплату труда, как вечное сопровождение жизни.

Но и того мало. Перенесем это к полюсу холода, на край света, на ту северо-восточную оконечность Азии, что

по переписи 1893 г., числилась самой пустынной в безлюдной Якутии : 7000 душ на весь огромный Колымский округ. Страна эта в советских условиях, в ударные сроки, была заселена лагерями, обратившись в колоссальную фабрику, в идеальную тюремную зону как специальную и важную отрасль социалистического хозяйства. В лабиринте лагерей, составлявших внутренности и скелет Советской Империи, Колыма — последний, самый нижний оплот преисподней.

Колыма в сталинской России — все равно, что Дахау или Освенцим для гитлеровской Германии. От этих наименований ни той, ни другой уже не отвертеться. Навсегда припечатано : Дахау, Колыма. Достаточно произнести, и мы видим Колыму таким же сосредоточием мирового зла в современной истории, как газокамеры и печи Освенцима. Только, может быть, с другим, противоположным знаком. Полюс вымораживания человека вместо огней крематория. И смерть на Колыме была длиннее в пространственной и временной протяженности. Растянувшись на многие годы и на тысячи километров, смерть здесь сопровождалась трудом, от которого государство имело большую экономическую выгоду, несравнимую с Освенцимом. Сказался рациональный подход на марксистской базе : извлечь максимальную прибыль из человеческого материала, который так и так подлежит уничтожению. Сказался "социализм", построенный на рабской, нищенской основе, в отличие от немецких романтиков.

Над "Колымскими рассказами" веет дух смерти. Но слово "смерть" здесь ничего не означает. Ничего не передает. Вообще, надо сказать, смерть мы понимаем абстрактно : конец, все помрем. Представить смерть как жизнь, тянущуюся без конца, на истощении последних физических сил человека, — куда ужаснее. Говорили и говорят : "перед лицом смерти". Рассказы Шаламова написаны перед лицом жизни. Жизнь — вот самое ужасное. Не только потому, что мука. Пережив жизнь, человек спрашивает себя : а почему ты живой? В колымском положении всякая жизнь — эго-

изм, грех, убийство ближнего, которого ты превзошел единственно тем, что остался в живых. И жизнь — это подлость. Жить — вообще неприлично. У выжившего в этих условиях навсегда останется в душе осадок "жизни", как чего-то позорного, постыдного. Почему ты не умер? — последний вопрос, который ставится человеку... Действительно : почему я еще живой, когда все умерли?..

Хуже смерти — потеря жизни при жизни, человеческого образа в человеке, самом обыкновенном, добром, как мы с вами. Выясняется : человек не выдерживает и превращается в материю — в дерево, в камень, — из которой строители делают, что хотят. Живой,двигающийся материал обнаруживает попутно неожиданные свойства. Во-первых, человек, обнаружилось, выносливее и сильнее лошади. Сильнее любого животного. Во-вторых, духовные, интеллектуальные, нравственные качества это что-то вторичное, и они легко отпадают, как шелуха, стоит лишь довести человека до соответствующей материальной кондиции. В-третьих, выясняется, в таком состоянии человек ни о чем не думает, ничего не помнит, теряет разум, чувство, силу воли. Покончить самоубийством это уже проявить независимость. Однако для этого шага надо сначала съесть кусок хлеба. В-четвертых, надежда — развращает. Надежда — это самое опасное в лагере (приманка, предатель). В-пятых, едва человек выздоравливает, первыми его движениями будут — страх и зависть. В-шестых, в-седьмых, в-десятых, факты говорят — нет места человеку. Один только срез человеческого материала, говорящий об одном : психика исчезла, есть физика, реагирующая на удар, на пайку хлеба, на холод, на тепло... В этом смысле природа Колымы подобна человеку — вечная мерзлота. "Художественные средства" в рассказах Шаламова сводятся к перечислению наших остаточных свойств: сухая, как пергамент, потрескавшаяся кожа; тонкие, как веревки, мускулы; иссушенные клетки мозга, которые уже не могут ничего воспринять; обмороженные, не чувствительные к предметам пальцы; гноящиеся язвы, заматанные грязными тряпочками. Се — человек. Человек, нисходящий до собственных костей, из

которых строится мост к социализму через тундру и тайгу Колымы. Не обличение — констатация: так это делалось...

Героев, в общем-то, в рассказах Шаламова нет. Характеры отсутствуют: не до психологии. Есть более или менее равномерные отрезки "человеко-времени" — сами рассказы. Основной сюжет — выживание человека, которое неизвестно чем кончится, и еще вопрос хорошо это или плохо выжить в ситуации, где все умирают, преподнесенной как данность, как исходная точка рассказывания. Задача выживания — это обоюдоострая вещь и стимулирует и худшее, и лучшее в людях, но поддерживая интерес, как температуру тела, в повествовании Шаламова.

Читателю здесь трудно приходится. В отличие от других литературных произведений, читатель в "Колымских рассказах" приравнивается не к автору, не к писателю (который "все знает" и ведет за собой читателя), но — к арестованному. К человеку, запертому в условия рассказа. Выбора нет. Изволь читать подряд эти короткие повести, не находя отдохновения тащить бревно, тачку с камнем. Это проба на выносливость, это проверка человеческой (читательской в том числе) доброкачественности. Бросить книгу и вернуться к жизни можно. В конце-то концов, читатель — не заключенный! Но как жить при этом, не дочитав до конца? — Предателем? Трусом, не имеющим сил смотреть правде в глаза? Будущим палачом или жертвой положений, о которых здесь рассказывается?

Ко всей существующей лагерной литературе Шаламов в "Колымских рассказах" — антипод. Он не оставляет нам никакого выхода. Кажется, он так же беспощаден к читателям, как жизнь была беспощадна к нему, к людям, которых он изображает. Как Колыма. Отсюда ощущение подлинности, адекватности текста — сюжету. И в этом особое преимущество Шаламова перед другими авторами. Он пишет так, как если бы был мертвым. Из лагеря он принес исключительно отрицательный опыт. И не устает повторять :

"Ужасно видеть лагерь, и ни одному человеку в мире

не надо знать лагерей. Лагерный опыт — целиком отрицательный до единой минуты. Человек становится только хуже. И не может быть иначе..."

"Лагерь был великой пробой нравственных сил человека, обыкновенной человеческой морали, и девяносто девять процентов людей этой пробы не выдержали. Те, кто выдерживал, умирали вместе с теми, кто не выдерживал..."

"Все, что было дорогим, — растоптано в прах, цивилизация и культура слетают с человека в самый короткий срок, исчисляемый неделями..."

С этим можно спорить: неужели ничего, никого? Спорит, например, Солженицын в "Архипелаге Гулаг":

"Шаламов и сам... пишет: ведь не стану же я доносить на других! ведь не стану же я бригадиром, чтобы заставлять работать других.

А отчего это, Варлам Тихонович: Почему это вы вдруг не станете стукачом или бригадиром, раз никто в лагере не может избежать этой наклонной горки растления? Раз правда и ложь — родные сестры? Значит, за какой-то сук вы уцепились? В какой-то камень упнулись — и дальше не поползли? Может, злоба все-таки — не самое долговечное чувство? Своей личностью... не опровергаете ли вы собственную концепцию?"

Может, и опровергает. Неважно. Не в этом суть. Суть в отрицании человека лагерем, и с этого надо начинать. Шаламов — зачинатель. У него — Колыма. А дальше идти некуда. И тот же Солженицын, охватывая Архипелаг, выносит Шаламова а за скобки собственного и всеобщего опыта. Сравнивая со своей книгой, Солженицын пишет:

"Может быть, в "Колымских рассказах" Шаламова читатель верней ощутит безжалостность духа Архипелага и грань человеческого отчаяния".

Все это можно представить в виде айсберга. "Колымские рассказы" входят в его подводную часть. Видя ледяную громаду, качающуюся на поверхности, нужно помнить, — что под нею, что заложено в основе? Там нет ничего. Нет смерти. Время остановилось, застыло. Историческое развитие не отражается во льду. Вот началась война, а что в результате? — уменьшение баланды. Победа над Германией? — новые заключенные. История — пустыня в "Вечном без-

различии" лагеря. Куда интереснее фраза, делающая динамику: "Есть хотелось все больше". Или (с акцентом на выживании) : "Я был спокоен и ждал одного, когда начальник удалится"...

Когда жизнь достигла степени "полусознания", можно ли говорить о душе? Оказалось, можно. Душа — материальна. Это не читаешь. В это вчитываешься, вгрызаешься. Срез материала — минуя "нравственность" — показывает нам концентрированного человека. В добре и в зле. И даже по ту сторону. В добре? — мы спросим. Да. Выпрыгнул же он из ямы, спасая товарища, рискуя собою, вопреки рассудку — просто так, повинувшись остаточному натяжению мускулов (рассказ "Дождь"). Это — концентрация. Концентрированный человек, выживая, ориентируется жестоко, но твердо: "...Я рассчитывал кое-кому помочь, а кое с кем свести счеты — десятилетней давности. Я надеялся снова стать человеком".

Рассказы Шаламова, применительно к человеку, — учебник "Сопромата" (сопротивления материалов). Техники, инженеры это знают, имея дело с производством, строительством. А нам зачем? Ради опоры. Чтобы чувствовать предел. И поддаваясь мечтам и соблазнам, помнить, помнить — из чего мы сотканы. Для этого должен был кто-то подвести черту Колыме, черту человеку. С воздушными замками мы не устоим. Но, зная худшее, — можно еще попробовать жить...



В "Синтаксисе" №6 было напечатано письмо Р.Рожковской из Америки, направленное против "еврейского засилия" в России и во всем мире. В письме, в частности сказано — по поводу антисемитизма в России: "радость моя, что наконец-то русские пробуждаются от долгого кошмарного сна, безгранична". Об отъезде евреев из СССР: "Понадобилась вами же самими (евреями) навязанная русскому народу революция, чтобы вы добровольно покинули нашу территорию. ...Спасибо Советской власти, что она сумела от вас добиться того, чего никак не могли добиться проклинаемые вами русские цари. ...Весь мир у вас в руках, и все вам мало". По словам Р.Рожковской, Паустовский, Амальрик, Синявский — это евреи, скрывшие свою национальность, чтобы было легче проповедывать Маркса, угнетать и обманывать русский народ. Синявский же в настоящее время "успешно разлагает французский народ". Поэт Иосиф Бродский назван "еврейским недорослем", который и "поэт-то только в вашем еврейском представлении".

Ниже мы публикуем отклики на письмо Рожковской.

Г-жа Рожковская!

Ваше письмо в редакцию "Синтаксиса" застигло меня врасплох. Вы вынуждаете меня, прямого потомка Рюрика в ХХХ колене, раскрыть большую семейную тайну: Рюрик вовсе не был варягом, а был обыкновенным жидом. Вот с каких пор мы начали поработать вас, русских!

Признайтесь, что некоторым из наших, хотя бы тому же Ивану Грозному, это особенно хорошо удавалось!

После Ваших блестящих разоблачений нет больше смысла для меня оставаться в подполье вместе со всякими синявскими и прочими амальриками. Скинув маску, мне теперь будет легче продолжать дело отцов по растлению русского и заодно французского народов. Почту за честь быть в одной компании с еврейским недорослем Бродским. Правда, не знаю, заслуживаю ли: он-то семилетку кончил, а я — нет!

Князь Андрей Волконский



Многоуважаемая госпожа Рожковская!

Читал я с большим удовольствием Ваше письмо, опубликованное в журнале "Синтаксис". Я совершенно разделяю Ваши взгляды на то, что евреи разлагают русский народ; здорово Вы разоблачили всех этих Синявских, Амальриков, Эткинских и Паустовских, чье бесконечное и жалкое антирусское лепетание нам, истинным сынам России, так надоело.

Позволю себе только добавить кое что к Вашим правдивым изречениям. Может быть, евреи уже с XII века разлагали и поработали русский народ. Но только хочу напомнить Вам то, что Вы уже, конечно, хорошо знаете, имея в виду Ваше явное пристрастие к образованным людям, что мои собственные предки, литовские князья Гедиминовичи, не хуже евреев сумели поработить и даже закрепить русского крестьянина, начиная с XIII века. Они, приятно думать, даже не раз перехитрили этих ловких евреев и их, этих иуд, поколотили как следует в свое время.

Итак, мы видим, что всякий, кому это захочется по-настоящему, легко может поработить русский народ, глупость которого, нужно признаться, неизмерима, о чем блестяще свидетельствует Ваше письмо.

Князь Владимир Петрович Грубецкой

ЧИТАЙТЕ

СВОБОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ ЖУРНАЛ

# «Поиски»

## 1-2

Еще недавно казалось, что время, когда *судили русскую культуру* в лице таких ее представителей, как Гроссман (у которого изымали романы), Синявский и Даниэль (над которыми учинили расправу за художественные произведения), Гинзбург (которого заточили в тюрьму за журнал "Синтаксис", а затем за "Белую книгу") уже больше не вернется.

Тем не менее, начало 1979 года преподнесло нам новые сюрпризы: гонению подвергается не только политическая мысль, но более глубинный и более широкий слой народного сознания — *культура*. И альманах "Метрополь", и журнал "Поиски", на который сейчас ополчились власти, представляют собой открытые, легальные проявления индивидуального и коллективного творчества. Это — попытки делать литературу как таковую. И к ним неприложимы понятия "крамола", "криминал", "изготовление и распространение заведомо ложных измышлений" и т.д.

...Преследование журнала "Поиски" — это трагедия и для читателя, которого обкрадывают, лишая его доступа к свежей мысли, к исканиям истины. ...

Георгий Владимов

Москва, 31 января 1979 г.

ЗАКАЗЫВАЙТЕ "ПОИСКИ"

ВО ВСЕХ РУССКИХ КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ

**"СИНТАКСИС" № 1.** *Н. Рубинштейн* — Когда труба трубила о походе; *Юлий Даниэль* — Выше других; *Лев Копелев* — О смертной казни; *Андрей Синявский* "Темная ночь..."; *Александр Янов* — Идеальное государство Геннадия Шиманова; *М. Каганская* — Отречение. От "Машеньки" к "Лолите"; *Абрам Терц* — Анекдот в анекдоте; *М. Розанова* — Возвращение. Памяти Галича.

**"СИНТАКСИС" № 2.** *А. Пятигорский* — В сторону Глюксмана; *Л. Ладов* — Несколько мыслей о России... *Олег Дмитриев* — Не называя имен (интервью); *А. Синявский* — Называя имена (комментарий); *Наталья Рубинштейн* — Дом без поэта; *И. Голомшток* — Встреча; *Жорж Нива* — "Вызов" и "провокация как эстетическая категория диссидентства"; *Абрам Терц* — Искусство и действительность; *Андрей Дравич* — Открытое письмо советскому писателю т. Богомолу.

**"СИНТАКСИС" № 3.** *И. Жолковская (Гинзбург)* — Моя благодарность; *А. А. Зиновьев* — За что боролись, на то и напоролись; *Б. Шрагин* — Сила диссидентов; *Андрей Синявский* — В ночь после битвы; *Андрей Амальрик* — Несколько мыслей о России...; *Зиновий Зиник* — Соц-арт; *Майя Каганская* — Время, Назад!; *Ю. Вишневская* — О памяти.

**"СИНТАКСИС" № 4.** *Игорь Померанцев* — Око и слеза; *М. Розанова* — В кривом зеркале; *Луи Мартинез* — Похвальное слово русской цензуре; *Григорий Померанц* — Толстой и Восток; *Абрам Терц* — Отечество. Блатная песня; *И. Голомшток* — Феномен Глазунова; *Виктория Швейцер* — Братская могила.

**"СИНТАКСИС" № 5.** *Эдуард Кузнецов* — Хэппи энд; *Абрам Терц* — Очки; *Е. Эткинд* — Наука ненависти; *Б. Шрагин* — Синдром "нормального человека"; *Игорь Померанцев* — Читая Фолкнера; *Жан Катала* — Слово из тьмы; *Игорь Померанцев* — Старик и другие; *Лев Копелев* — Советский литератор на Диком Западе.

**"СИНТАКСИС" № 6.** *Раиса Лерт* — Поздний опыт; *Григорий Померанц* — Сон о справедливом возмездии; *Александр Янов* — Дьявол меняет облик; *Милован Джилас* - *Вадим Белоцерковский* — Диалог; *Игорь Померанцев* — "Я на земле, где вы живете..."; *А. Синявский* — Один день с Пастернаком; *М. Розанова* — Пространство книги.

**"СИНТАКСИС" № 7.** *Н. Ленин* — Парафразы и памятования.

## СОДЕРЖАНИЕ

*От редакции* . . . . . 3

### СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

*Ален Безансон*. Об Андрее Амальрике. . . . . 4

*А. Синявский*. Сны на православную Пасху. . . . . 7

*Луи Мартинез*. За мир и счастье. . . . . 15

### ВОПРОСЫ ИСТОРИИ

*Михаил Рейман*. Бухарин и альтернативы  
советского развития. . . . . 26

### ДРУГИЕ БЕРЕГА

*М. Розанова*. На разных языках . . . . . 49

*Зиновий Зиник*. Подстрочник . . . . . 73

*Александр Янов*. Отчего мы молчим?.....110

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

*Григорий Померанц*. Сны земли. . . . . 116

### КНИЖНАЯ ПОЛКА

*Генрих Белль*. Не плачь при них. . . . . 174

*А.Синявский*. Срез материала . . . . . 180

НАША ПОЧТА . . . . . 188

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу  
редакция в переписку не вступает.

Цена номера 25 фр.фр.

Подписка в редакции на 4 номера — 90 фр. фр.

Пересылка за счет подписчика.

Imprimerie SYNTAXIS. 8, rue Boris Vildé, 92260 Fontenay-aux-Roses